

КЛАССИЧЕСКАЯ И СОВРЕМЕННАЯ ПРОЗА

Хулио

КОРТАСАР

Все огни — огонь

Все огни — огонь

рассказы

Все огни — огонь

Хулио Кортасар

Аннотация
Хулио Кортасар. Все огни — огонь
Южное шоссе
Здоровье больных
Воссоединение
Сеньорита Кора
Остров в полдень
Инструкции для Джона Хауэлла
Все огни — огонь
Другое небо
1
2

Аннотация

«Все огни — огонь» — пожалуй, самый загадочный сборник рассказов великого Кортасара. Каждое произведение этой книги — не просто жемчужина магического реализма, но и совершенно законченная история возможного выхода в параллельную, магическую реальность — порой очень близкую к нашей, а порой разительно от нее отличающуюся. Путей к достижению этого выхода может быть множество, и далеко не все из них носят сугубо мистический характер, однако результат остается неизменным…

Хулио Кортасар
Все огни — огонь

Южное шоссе

Gli automobilisti accaldati sembrano non avere storia… Come realta, un ingorgo automobilistieo impiessiona, ma non ci dice gran che.

Arrigo Benedetti, L'Espresso, Roma, 21, б, 1964. [1]

Вначале девушка из «дофина» утверждала, что следит за временем, хотя инженера из «пежо-404» это уже не трогало. Глядеть на часы дело нехитрое, но время, прикрепленное к правому запястью, или радиосигналы «би-би» словно отмеряли что-то иное, время тех людей, которые не поддались идиотскому желанию возвращаться в Париж по южному шоссе в воскресенье вечером и которые не были вынуждены, едва миновав Фонтенбло, еле-еле ползти, то и дело останавливаясь, — шесть рядов на каждой стороне дороги (как известно, по воскресеньям шоссе целиком предоставляется возвращающимся в

---

[1] Примечания: 1

Считается, что об этих оголтелых автомобилистах рассказывать нечего… В самом деле, пробки на дорогах — любопытное зрелище, но не более. Аррчго Бенедеттн, Л'Эскрессо, Рим (итал.).

столицу), — включишь мотор, продвинешься на два-три метра, вновь остановишься, поболтаешь с монахинями, машина которых стоит справа, с девушкой в «дофине» — слева, бросишь взгляд через заднее стекло на бледного мужчину за рулем «каравеллы», шутливо выразишь свою зависть супружеской паре из «пежо-203» (позади «дофина»), которая хлопочет над своей девочкой, играет с ней, забавляет и жует сыр, терпишь иногда дикие выходки двух желторотых юнцов из «симки», двигающейся впереди «пежо-404», а во время остановок даже выходишь на разведку, не слишком удаляясь от машины, ибо никогда не узнаешь, в какой момент передние машины возобновят движение, — беги тогда во всю прыть, чтобы соседи сзади не подняли шум, сигналя и бранясь, и так доберешься до «таунуса», что впереди «дофина», в котором девушка то и дело поглядывает на часы, 'перекинешься словом иногда весело, а порой и досадливо — с двумя мужчинами, с которыми едет белокурый мальчик, несмотря ни на что с великим удовольствием катающий игрушечный автомобиль по сиденьям и буферу «таунуса»; можно рискнуть отойти подальше, если увидишь, что передние машины стоят намертво, бросить жалостливый

взгляд на старых супругов из «ситроена», похожего на гигантскую фиолетовую ванну, в которой плавают оба старичка, он — держа руки на руле, с выражением терпеливой усталости, она — грызя яблоко, скорее со старанием, чем с охотой.

Это повторялось трижды, и на четвертый раз инженер решил больше не выходить из машины и ждать, когда в конце концов пробка рассосется. Августовский жар скапливался в этот час дня где-то на уровне шин, словно для того, чтобы неподвижность еще больше взвинчивала нервы. Все пропахло бензином, над машинами взлетали крикливые голоса молодых людей из «симки», солнце отражалось в стеклах и хромированных частях автомобилей, и в довершение всего — росло нелепое, странное чувство, будто ты погребен в этом густом лесу машин, которым полагалось бы мчаться вперед.

Принадлежавший инженеру «четыреста четвертый» располагался во втором ряду справа, если считать от линии, разделяющей автостраду пополам; таким образом, справа от него находилось еще четыре машины, а слева еще семь, хотя, по сути дела, разглядеть как следует можно было лишь восемь непосредственно окружавших его машин и их пассажиров, на которых он уже

насмотрелся до одури. Он успел переговорить со всеми, кроме молодых владельцев «симки», внушавших ему неприязнь.

Положение обсуждали в мельчайших подробностях, и у всех возникло впечатление, что до Корбей-Эссона придется продвигаться шажком или еще того медленнее, а между Корбей и Жювизи ритм начнет убыстряться, как только вертолетам и мотоциклистам удастся ликвидировать самое трудное место в пробке. Никто не сомневался, что затор вызван тяжелой катастрофой где-нибудь неподалеку — во всяком случае, трудно было найти иное объяснение столь невероятной медлительности. И тут же — правительство, жара, налоги, дорожное управление, банальности одна за другой, на три метра продвинулись, очередная банальность, еще сто метров, поучение или сдержанная брань.

Две монахини торопились попасть в Миллиля-Форэ до восьми — они везли в своем «2HP» корзину овощей и другой зелени для кухни.

Супруги из «пежо-203» больше всего боялись пропустить телевизионную игру, которую передают в половине десятого; девушка за рулем «дофина» сказала инженеру, что ей все равно, приедет ли она в Париж раньше или позже, но она

возмущается из принципа, так как считает безобразием заставлять тысячи людей двигаться со скоростью каравана верблюдов. В эти последние часы (было, должно быть, около пяти, но солнце все еще подвергало их невыносимой пытке), они, по мнению инженера, проехали несколько сотен метров, но один из пассажиров «таунуса», который подошел перекинуться словом, ведя за руку мальчика с игрушечным автомобилем, иронически улыбаясь, указал на верхушку одинокого платана, и девушка из «дофина» вспомнила, что этот платан (или, может быть, каштан) находится на одной линии с ее машиной уже столько времени, что не стоило глядеть на часы и ломать голову над бесполезными подсчетами.

Вечер никак не наступал, солнечный жар струился и прожал над шоссе и кузовами машин, доводя до головокружения. Темные очки, смоченные одеколоном платки на лбах, импровизированные укрытия от солнца, от ослепительных солнечных бликов и клубов выхлопного газа, вырывающихся из труб при каждом броске вперед, становились лучше и совершеннее, перенимались другими и оживленно обсуждались. Инженер вновь вышел из машины размять ноги, обменялся несколькими словами с супругами

деревенского вида из «ариана», стоявшего впереди «2НР». Позади «2НР» стоял «фольксваген» с солдатом и девушкой, очевидно молодоженами.

Третий ряд в сторону обочины уже не интересовал инженера, это могло бы увести его на опасное расстояние от «четыреста четвертого», у него рябило в глазах от пестроты и разнообразных силуэтов — «мерседес-бенц», «ситроен», «4Р», «ланча», «шкода», «моррисмайнор» — полный набор. Слева, по другой стороне шоссе, тянулись настоящие заросли — недостижимые для него «рено», «Англия», «пежо», «порш», «вольво»; все это было так однообразно, что в конце концов, поболтав с двумя мужчинами из «таунуса» и безуспешно попытавшись обменяться впечатлениями с одиноким водителем «каравеллы», инженер не нашел ничего лучшего, как вернуться в свой «четыреста четвертый» и вновь завести разговор о времени, расстояниях и кино с девушкой из «дофина».

Иногда, протискиваясь между машинами, к ним забредал какойнибудь чужак с другой полосы дороги или от самых крайних рядов справа, проносил ту или иную новость, возможно и ложную, но передававшуюся от машины к машине вдоль раскаленных километров. Пришелец сма-

ковал успех своих сообщений, прислушиваясь к хлопанью дверец, — автомобилисты кидались обсуждать принесенную им новость, — но спустя некоторое время где-нибудь раздавался гудок или рев мотора, и чужак бегом бросался прочь, видно было, как он лавирует между машинами, стараясь поскорее добраться до своей и избежать праведного гнева соседей.

Именно так за вечер узнали о столкновении «флориды» с «2НР» возле Корбей — трое убитых, один ребенок ранен; о двойном наезде — «фиат-1500» налетел на крытый грузовик «рено», который в свою очередь смял «остин», набитый английскими туристами; рассказывали также, будто перевернулся автобус, шедший из Орли и переполненный пассажирами с копенгагенского самолета. Инженер не сомневался, что все или почти все — выдумка, хотя что-то серьезное, вероятно, и правда должно было произойти возле Корбей или даже у самого Парижа, раз движение остановилось на таком большом участке. Крестьяне из «ариана», у которых была ферма в стороне Монтре, хорошо знали окрестности и рассказали, что как-то, тоже в воскресенье, движение было остановлено на пять часов, но теперь этот срок уже казался почти ничтожным — ибо

солнце, клонясь к горизонту слева от дороги, опрокидывало на каждую машину последнюю лавину апельсинового желе, от которого закипал металл и темнело в глазах, и позади все маячила и маячила верхушка дерева, а другая едва различимая вдалеке тень все не приближалась, словно для того, чтобы дать почувствовать, что колонна все же двигается, — пусть еле-еле, пусть то и дело останавливается и вновь трогается с места, и внезапно тормозит и ползет только на первой скорости, и всякий раз приходится испытывать оскорбительное разочарование, когда еще и еще раз первая скорость кончается полной остановкой — ножной тормоз, ручной, стоп. И так еще раз, еще и еще.

Однажды, по горло сытый бездействием, инженер решил воспользоваться остановкой, особо долгой и нудной, и обойти ряды машин слева; оставив позади себя «дофин», он увидал «DKW», еще один «2PH», «фиат-600», задержался возле «десото», чтобы поговорить с взволнованным и растерянным туристом из Вашингтона, который почти не понимал по-французски, но к восьми часам должен был непременно попасть на Плас Опера — you understand, my wife will be awfully

anxious, damn it[2], - разговор шел понемногу обо всем, и тут из «DKW» выбрался человек, торговый агент с виду, и заявил, что час назад ему рассказали, будто посреди шоссе вдребезги разбился «пиперкэб», несколько убитых. Американец оставил без внимания историю с «пиперкэбом», инженер тоже, — услыхав хор гудков, он кинулся к своему «четыреста четвертому», на бегу успев сообщить новости пассажирам «таунуса» и супругам из «двести третьего».

Подробности он приберег для девушки из «дофина» и излагал их, пока машины ползли свои несколько метров (теперь «дофин» немного отстал от «четыреста четвертого», чуть позже порядок поменялся, но в целом все двенадцать рядов двигались единым блоком, словно невидимый регулировщик, спрятанный где-то под полотном дороги, выпускал одновременно все машины, и никто не мог вырваться вперед). «Пиперкэб», мадемуазель, это небольшой прогулочный самолет. А-а! Пришло же в голову шлепнуться посреди шоссе в воскресный день. Если бы хоть не так парило в этих проклятых машинах, если бы вон те деревья справа оказались наконец позади, ес-

---

[2] Примечания: 2
Понимаете, жена будет ужасно беспокоиться, черт побери (англ.)

ли бы последняя цифра на счетчике километров совпала бы наконец с черной стрелочкой, а не висела целую вечность на собственном хвосте.

И вот как-то (начинало смеркаться, уходящие к горизонту автомобильные крыши подернулись лиловой дымкой) большая белая бабочка присела на ветровое стекло «дофина», и девушка с инженером залюбовались ее крылышками, мимолетным и совершенным мгновением покоя; с какой-то особой тоской они глядели ей вслед, когда она, перелетев «таунус» и фиолетовый стариковский «ситроен», направилась к «фиату-600», уже неразличимому вдали, вернулась к «симке», где рука неудачливого охотника попыталась было схватить ее, затем легко перепорхнула «ариан», принадлежащий крестьянской чете, которая, кажется, ужинала, и исчезла из поля зрения где-то справа от «четыреста четвертого». С наступлением сумерек колонна в первый раз продвинулась на значительное расстояние — почти сорок метров; когда инженер рассеянно взглянул на счетчик километров, шестерка исчезла и показался кончик цифры «семь». Все включили приемники, а обитатели «симки» пустили радио на полную мощность и, подпевая мелодии твиста, тряслись и дергались так, что содрогалась вся

машина; монахини перебирали четки, мальчик из «таунуса» уснул, прижавшись лицом к стеклу и не выпуская из рук игрушечного автомобиля. Вновь появились незнакомцы (стояла уже глухая ночь) и принесли новые слухи, столь же противоречивые, как первые, уже забытые. Речь шла теперь не о «пиперкэбе», а о планере, который пилотировала дочь генерала. Подтверждался слух о том, что грузовик-фургон «рено» налетел на «остин», однако это случилось не в Жювизи, а у въезда в Париж; один из пришедших рассказал владельцам «двести третьего», что дорожное покрытие возле Иньи повреждено и что пять автомашин перевернулись, врезавшись передними колесами в трещину. Вести о происшествии дошли и до инженера — тот пожал плечами и воздержался от комментариев. Попозже, перебирая в памяти минуты ранних сумерек, когда стало легче дышать, он вспомнил, как почему-то вдруг высунул руку из машины, постучал по обшивке «дофина» и разбудил девушку, которая уснула, уронив голову на руль и не заботясь о том, что надо двигаться дальше.

Вероятно, наступила уже полночь, когда одна из монахинь робко предложила инженеру бутерброд с ветчиной, полагая, что инженер голоден.

Он принял его из вежливости (на самом деле его мутило) и попросил разрешения поделиться с девушкой из «дофина», которая взяла бутерброд и съела его с аппетитом, закусив долькой шоколада, предложенной ей соседом слева, владельцем «DKW». Многие выбирались на воздух из своих прокаленных машин, вновь на многие часы застрявших на месте; люди стали ощущать жажду, так как все запасы лимонада, кока-колы и вина у них кончились. Первой попросила пить девочка из «двести третьего», и солдат с инженером и отцом девочки, покинув автомобили, направились на поиски воды.

Впереди «симки», обитателям которой радио, очевидно, вполне заменяло пищу, инженер обнаружил «болье» и в нем женщину зрелых лет с тревожным взглядом. Нет, воды у нее нет, но она может дать для девочки конфет. Супруги из «ситроена» посовещались немного, и затем старушка извлекла из сумки банку фруктового сока. Инженер поблагодарил и справился, не голодны ли они и не может ли он быть им полезен; старик отрицательно покачал головой, но его жена, видимо, готова была принять помощь. Спустя некоторое время девушка из «дофина» вместе с инженером обследовала ряды машин, стоящих

по левую руку, не слишком удаляясь от своих; они добыли немного печенья и отнесли его старушке в «ситроен», едва успев вернуться на свои места под ливнем автомобильных гудков.

Если не считать этих ничтожных отлучек, заняться было нечем, и часы в конце концов стали наслаиваться одни на другие, слившись в памяти в единое целое; в какой-то момент инженер решил вычеркнуть день из своей записной книжки и сдержал смешок, но в дальнейшем, когда оказалось, что монахини и пассажиры «таунуса» и девушка из «дофина» не сходятся в подсчетах, он понял, что следовало бы соблюдать точность. Передачи местного радио прекратились, и лишь коротковолновый приемник у пассажира «DKW» упорно передавал биржевые новости. К трем часам утра между людьми возникло молчаливое согласие отдохнуть, и до самого рассвета колонна не сдвинулась с места. Молодые люди из «симки» вытащили надувные матрасы и улеглись возле машины; инженер опустил спинки передних сидений «четыреста четвертого» и хотел уступить ложе монахиням — те отказались; прежде чем прилечь, инженер подумал о девушке из «дофина», неподвижно сидевшей за рулем, и как бы между прочим предложил ей до рассвета

обменяться машинами; она отказалась, объяснив ему, что может спокойно спать в любых условиях. Какое-то время он слышал плач ребенка в «таунусе», уложенного на заднем сиденье, где было, должно быть, слишком жарко. Монахини еще творили молитву, когда инженер растянулся наконец на сиденьях и уснул, но сон его был слишком настороженным и чутким, и он вскоре пробудился в поту и тревоге, в первый момент не поняв, где он находится; вскочив, инженер стал прислушиваться к неясному шороху снаружи, увидел скольжение теней между автомобилями и неясный силуэт, удалявшийся к обочине шоссе. Он понял причину этих передвижений и немного погодя сам потихоньку вышел из машины и крадучись стал пробираться к обочине, чтобы облегчиться; по краям не было ни изгородей, ни деревьев — лишь черное пространство, без звезд, словно некая абстрактная стена, отгораживающая белую ленту шоссе с застывшей рекой автомобилей. Он чуть не налетел на крестьянина из «ариана», тот пробормотал что-то невразумительное; к запаху бензина, который висел над нагретым шоссе, присоединился теперь острый и кислый запах, выдававший присутствие человека, и инженер поспешил вернуться к своему

автомобилю. Девушка из «дофина» спала, облокотившись на руль, прядь волос свешивалась ей на глаза; прежде чем зайти к себе в машину, инженер некоторое время с интересом изучал во тьме ее профиль, угадывал очертания ее губ, пропускавших во сне легкий свист. С другой стороны на девушку смотрел владелец «DKW» и молча курил.

Утром продвинулись вперед — ненамного, но все же это дало надежду, что после полудня путь в Париж будет открыт. В девять явился откуда-то человек с добрыми вестями: трещины заделали и нормальное движение скоро восстановится. Ребята из «симки» включили радио, один из них влез на крышу автомобиля и стал орать и петь. Инженер отметил про себя, что новости столь же сомнительны, сколько и вчерашние, и что тот, кто их принес, воспользовался всеобщим оживлением и радостью, чтобы выпросить апельсин у четы из «ариана». Попозже какой-то человек хотел проделать тот же номер, но уже не нашлось желающих что-либо ему дать. Жара усиливалась, и люди предпочитали не выходить из машин в ожидании момента, когда добрые вести подтвердятся на деле. В полдень девочка из «двести третьего» вновь захныкала, девушка из

«дофина» пошла поиграть с ней и подружилась с ее родителями. Владельцам «двести третьего» не повезло: справа от них стояла «каравелла», молчаливый владелец которой был чужд всему, что происходило вокруг, а от соседа слева — водителя «флориды» — им пришлось терпеть нескончаемый поток гневных речей, ибо затор воспринимался им исключительно как выпад против него лично. Когда девочка снова стала жаловаться на жажду, инженеру пришло на ум переговорить с крестьянами из «ариана» — он был уверен, что у тех были кое-какие припасы. К его удивлению, супруги приняли его очень любезно, им понятно, что в таком положении необходимо помогать друг другу, и они думают, что, если бы кто-нибудь взялся командовать группой (жена рукой обрисовала в воздухе круг, включающий около дюжины окружавших ее машин), они бы не испытывали затруднений до самого Парижа. Инженеру в голову не могло прийти предлагать себя в начальники, и он предпочел позвать мужчин из «таунуса» и посовещаться с ними и с владельцами «ариана». Вскоре они по очереди переговорили со всеми членами группы. Молодой солдат из «фольксвагена» согласился сразу, а супруги из «двести

третьего» предложили небольшой запас провизии, который у них оставался (девушка из «дофина» отдала стакан гранадина с водой девочке, та резвилась и смеялась). Один из пассажиров «таунуса» пошел узнать мнение молодых людей из «симки» и получил шутливое согласие; бледный водитель «каравеллы» пожал плечами и заявил, что ему безразлично, пусть поступают, как сочтут нужным. Старики из «ситроена» и дама из «болье» заметно обрадовались, словно почувствовали себя под надежной защитой.

Водители «флориды» и «DKW» промолчали, а американец, управлявший «десото», посмотрел на делегацию с удивлением и пробормотал что-то насчет воли божьей. Инженеру не стоило труда предложить кандидатуру одного из пассажиров «таунуса», к которому он испытывал инстинктивное доверие, в руководители их группы.

Никому не хотелось есть, но было необходимо раздобыть воду.

Избранный руководитель, которого молодежь из «симки» забавы ради стала называть просто Таунусом, попросил инженера, солдата и одного из молодых людей обследовать участок, прилегающий к шоссе, и предложить продукты в обмен на питье. Таунус, явно обладавший способностью

руководить, подсчитал, что им необходимо обеспечить себя максимум на полтора дня — в худшем случае. В автомашине монахинь и в крестьянском «ариане» имелся достаточный для этого запас провизии, и если разведчики вернутся с водой, проблема будет решена. Однако лишь солдат принес полную флягу, хозяин которой требовал взамен продовольствие на двоих. Инженеру обмен не удался, но благодаря хождению он уяснил себе, что в других местах тоже образуются такие же группы с теми же целями: в один прекрасный момент владелец «альфа-ромео» отказался вести с ним переговоры насчет воды и предложил обратиться к представителю их группы — пятая машина сзади в том же ряду. Немного позже увидели, как возвращается молодой человек из «симки» — тоже без воды, но Таунус подсчитал, что у них уже достаточно ее для детей, старушки из «ситроена» и для остальных женщин.

Инженер описывал девушке из «дофина» свои блуждания по окрестностям (был час дня и солнце загнало их в машины), когда она вдруг прервала его жестом и указала на «симку». В два прыжка инженер достиг машины и схватил за локоть одного из молодых людей, который, развалясь на сиденье, большими глотками пил

воду из фляжки, незаметно пронесенной под пиджаком. Парень обозлился и попробовал было вырваться, но инженер сжал его руку сильнее; приятель парня выскочил из машины и кинулся на инженера; тот отступил на два шага и даже с некоторым сожалением стал его поджидать. Солдат уже бежал ему на помощь, а крики монахинь привлекли внимание Таунуса и его товарища; Таунус выслушал рассказ о происшествии, подошел к парню и отвесил ему пару пощечин. Парень закричал, стал возмущаться и хныкать, его приятель ворчал, но вмешаться не посмел. Инженер забрал флягу и протянул ее Таунусу.

Раздались гудки, и все разошлись по своим автомобилям, впрочем, зря, так как колонна продвинулась на каких-нибудь полдюжины метров.

К середине дня, когда солнце жгло еще горячей, чем накануне, одна из монахинь сняла с головы чепец, а вторая смочила ей виски одеколоном. Женщины понемногу стали заниматься делами милосердия, переходя от машины к машине, и возиться с детьми, чтобы освободить мужчин; никто не жаловался, но бодрое настроение было вымученным, оно поддерживалось только привычной игрой слов и скептическим взглядом на вещи. Инженер и девушка из «дофина» особенно

страдали, чувствуя себя потными и грязными, их умиляло почти полное безразличие супругов из «ариана» к исходившему от них тяжелому запаху пота, который ударял в нос всякий раз, когда инженер с девушкой подходили к их машине поболтать или передать какую-нибудь новость. К вечеру инженер, случайно взглянув в заднее стекло, как всегда увидал бледное, напряженное лицо человека за рулем «каравеллы», державшегося, как и толстяк водитель «флориды», особняком. Инженеру показалось, что черты его еще больше вытянулись, он даже спросил себя, не болен ли тот. Однако несколько позже, когда инженер отправился поболтать с солдатом и его женой, ему представилась возможность увидеть водителя «каравеллы» поближе, и он сказал себе — человек этот не болен; это было что-то другое, отчужденность, что ли, если необходимо дать какое-то название. Солдат рассказывал потом инженеру, что на его жену наводит страх этот молчаливый субъект, ни на мгновение не отрывающийся от руля и, кажется, бодрствующий во время сна. Стали рождаться всякие предположения, создавался целый фольклор как противоборство вынужденному безделью. Дети из «таунуса» и «двести третьего» подружились, подрались и

вновь помирились; их родители навещали друг друга, а девушка из «дофина» то и дело ходила справляться о здоровье старушки из «ситроена» и дамы из «болье».

Когда к вечеру внезапно задул резкий ветер и солнце скрылось за облаками, затянувшими небо на запада, все обрадовались, надеясь, что в воздухе станет свежее. Первые капли совпали с небывалым рывком вперед почти на сотню метров; вдалеке блеснула молния, стало еще душнее. Воздух был так насыщен электричеством, что Таунус, проявив безошибочное чутье, восхитившее инженера, оставил свою группу в покое до вечера, словно боялся, что усталость и жара дадут себя знать. В восемь вечера женщины взялись распределять провизию; решили сделать крестьянский «ариан» главной продовольственной базой и складом, а в «2НР» у монахинь устроить запасной склад. Таунус лично отправился переговорить с руководителями четырех или пяти соседних групп. Затем с помощью солдата и мужчины из «двести третьего» отнес часть продовольствия в другие группы и возвратился с водой и несколькими бутылками вина.

Было решено, что молодые люди из «симки» уступят свои надувные матрасы старушке из

«ситроена» и даме из «болье»; девушка из «дофина» отнесла этим женщинам два шотландских пледа, а инженер предложил всем желающим свою машину, которую в шутку назвал «спальным вагоном». К его удивлению, девушка из «дофина» приняла предложение и провела эту ночь на диване «четыреста четвертого» вместе с одной из монахинь; другая устроилась в «двести третьем» вместе с девочкой и ее матерью, а отец девочки переночевал прямо на дороге, завернувшись в плюшевое одеяло. Инженеру не спалось, и он коротал ночь, играя в шашки с Таунусом и его приятелем; через некоторое время к ним присоединился крестьянин из «ариана», они поговорили о политике и выпили несколько глотков водки, которую крестьянин вручил Таунусу сегодня утром. Ночь прошла неплохо; посвежело, между облаками блеснули звезды.

На рассвете их стало клонить ко сну — стремление оказаться под кровом, рождавшееся с первым неясным светом зари. Таунус уснул рядом с сынишкой на заднем сиденье машины, его приятель и инженер устроились на переднем. В промежутках между двумя сновидениями инженеру показалось, что он слышит где-то далеко крики и видит смутный свет; руководитель другой

группы, навестивший их, рассказал, что машин на тридцать вперед возник пожар, виновником оказался какой-то человек, пытавшийся тайком сварить себе овощи. Таунус пошутил по поводу происшествия и, обходя машины, интересовался, как прошла ночь, но ни от кого не ускользнуло, что он хотел сказать. Тем утром колонна двинулась очень рано, и пришлось пошевеливаться, чтобы поставить на место сиденья и надеть чехлы, но поскольку это надо было делать всем, почти никто не терял терпения и не нажимал на гудки. К полудню продвинулись вперед более чем на пятьдесят метров, и справа от дороги проступили очертания леса. Те, кто в этот момент мог добраться до опушки и понежиться в тени, вызвали всеобщую зависть. Может, там был ручей или колонка с питьевой водой. Девушка из «дофина» прикрыла глаза и размечталась — о душе, о струйках, бьющих по шее и спине, сбегающих по ногам; инженер, краем глаза наблюдавший за ней, увидел, как две слезы скатились у девушки по щекам.

Таунус навестил «ситроен» и тотчас же отправился на поиски женщин помоложе, которые могли бы присмотреть за старушкой, почувствовавшей себя плохо. В третьей группе позади

был врач, и солдат побежал за ним. Инженер, который насмешливо, но благожелательно следил за стараниями ребят из «симки» загладить свою вину, понял, что сейчас удобный момент предоставить им эту возможность. Брезентом от туристской палатки ребята прикрыли окна «четыреста четвертого», и спальный вагон превратился в санитарную машину, где старушка могла лежать в относительной темноте. Муж улегся рядом с нею и взял ее за руку, и их оставили наедине с врачом.

Затем старой женщиной, которой стало лучше, занялись монахини, и остаток дня инженер развлекался, как мог, — навещал другие машины и отдыхал в машине Таунуса, когда солнце жгло особенно немилосердно; только трижды пришлось ему бежать к своему автомобилю — старики там, кажется, уснули, — чтобы провести его вместе со всей колонной до следующей остановки. Когда наступила ночь, они все еще не поравнялись с лесом.

К двум часам ночи температура упала, и те, у кого нашлись одеяла, радовались, что могут закутаться. Поскольку колонна вряд ли могла двинуться до рассвета (что-то такое носилось в воздухе, в дуновении ветерка, набегавшего от

горизонта, до которого недвижно стояли в ночи машины), инженер и Таунус сели покурить и побеседовать с крестьянином из «ариана» и солдатом. Расчеты Таунуса уже не оправдались, он откровенно это признал; утром придется что-то предпринять, чтобы добыть еще провизии и питья. Солдат отправился к руководителям соседних групп — те тоже не спали; понизив голоса, чтобы не разбудить женщин, они решали, что делать.

Опросили представителей самых отдаленных групп, в радиусе восьмидесяти или даже ста автомобилей, и убедились, что положение у всех одинаковое. Крестьянин хорошо знал местность; он предложил послать на заре двоих или троих молодых людей купить продовольствие на близлежащих фермах, а Таунус занялся подбором водителей для машин, которые на время этой вылазки лишатся хозяев.

Мысль была удачной, и среди присутствующих легко собрали деньги; решили, что крестьянин, солдат и приятель Таунуса пойдут вместе и захватят с собой все имеющиеся сумки, сетки и фляжки. Руководители других групп вернулись к себе организовать такие же экспедиции, а на рассвете все рассказали женщинам и приняли

необходимые меры, чтобы колонна могла двигаться дальше. Девушка из «дофина» сообщила инженеру, что старушке стало лучше и она хочет вернуться к себе в «ситроен», в восемь пришел врач — он не обнаружил ничего такого, что мешало бы старикам вернуться в свой автомобиль. Так или иначе, Таунус решил оставить «четыреста четвертый» на роли санитарной машины; молодые люди забавы ради соорудили флажок с красным крестом и укрепили его на антенне автомобиля. Уже некоторое время люди предпочитали пореже выходить из машин; температура все падала, и в полдень хлынул проливной дождь, вдали засверкали молнии. Жена фермера стала поспешно подставлять под струи воды пластмассовый кувшин, чем особенно развеселила ребят из «симки». Наблюдая за этой картиной и склонившись над раскрытой на руле книгой, которая его не слишком интересовала, инженер задавал себе вопрос, почему экспедиция так долго не возвращается; немного позже Таунус тихонько пригласил его к себе в машину и, когда они уселись внутри, сообщил, что их постигла полная неудача.

Приятель Таунуса пояснил: на фермах либо никого не было, либо хозяева отказывались что

бы то ни было продавать, ссылаясь на правила ограничения частной торговли и подозревая в покупателях инспекторов, которые воспользовались обстоятельствами, чтобы произвести проверку. Несмотря на все, им удалось добыть немного воды и кое-какие продукты, возможно, они были украдены солдатом — тот только улыбался и в подробности не входил. Разумеется, пробка скоро рассосется, однако провизия, которой они располагали, не слишком подходит для двоих детей и старухи. Врач, в половине пятого навестивший больную, устало и раздраженно сказал Таунусу, что и в его, и в других группах та же картина. По радио сообщили о срочных мерах, принимаемых для разгрузки шоссе, но, кроме одного вертолета, который ненадолго показался над ними к вечеру, не было заметно никаких других признаков деятельности. Тем временем становилось все холоднее, и люди, казалось, ждали наступления ночи, чтобы закутаться в одеяла и скоротать во сне еще несколько часов ожидания. Сидя в своем автомобиле, инженер слушал, как торговый агент рассказывал девушке из «дофина» анекдоты, вызывая у нее принужденный смех. С удивлением увидел инженер даму из «больше» — она почти никогда не покидала свою

машину — и отправился узнать, не надо ли ей чего, но дама просто интересовалась новостями и завела разговор с монахинями. Какая-то непонятная, невыразимая тяжесть стала угнетать их к вечеру; сна ждали с большим нетерпением, чем сообщений — обычно противоречивых или ложных.

Приятель Таунуса незаметно для других посетил инженера, солдата и владельца «двести третьего». Таунус извещал их, что экипаж «флориды» только что дезертировал: один из молодых людей из «симки» увидел пустую машину и стал разыскивать ее хозяина, чтобы вместе с ним убить время. Никто не был хорошо знаком с толстяком из «флориды», который так бурно возмущался в первый день, а потом умолк и, подобно хозяину «каравеллы», больше не раскрывал рта.

Когда к пяти утра не осталось ни малейшего сомнения, что Флорида, как, дурачась, называли его ребята из «симки», дезертировал, взяв с собой ручной саквояж и бросив в машине чемодан, набитый рубашками и нижним бельем, Таунус решил, что один из ребят будет управлять покинутой машиной, чтобы не застопорить все движение.

Это бегство во тьме вызвало у всех смутное

раздражение, и люди задавались вопросом, как далеко мог уйти Флорида напрямик через поля. И для других эта ночь оказалась ночью серьезных решений; растянувшись на диване своей машины, инженер прислушался — ему почудился какой-то стон, но он подумал, что это солдат и его жена, — стояла глубокая ночь, и в такой обстановке их в конце концов легко было понять. Потом он поразмыслил и приподнял брезент, закрывавший заднее стекло; при свете скудных звезд он, как всегда, увидел в каком-то полуметре от себя ветровое стекло «каравеллы», а за ним словно прильнувшее к нему и несколько странно повернутое, перекошенное судорогой лицо человека. Стараясь не шуметь, инженер вышел в левую сторону, чтобы не разбудить монахинь, и оглядел «каравеллу». Потом разыскал Таунуса, а солдат побежал за врачом.

Так оно и было, этот человек покончил самоубийством, приняв какой-то яд; несколько строчек карандашом в записной книжке и письмо к некой Иветт, покинувшей его во Вьерзоне, говорили сами за себя. К счастью, привычка спать в машинах достаточно укоренилась (по ночам было уже так холодно, что никому не приходило в голову остаться на улице), и поэтому никого

не занимало, что другие ходят между машинами или проскальзывают к обочине облегчиться. Таунус созвал военный совет, врач согласился с его предложением. Оставить труп на обочине шоссе значило подвергнуть тех, кто едет сзади, тяжелой психической травме; если оттащить его подальше в поле, можно вызвать столкновение с местными жителями, которые в прошлую ночь поколотили молодого человека из другой группы, отправившегося за провизией. У крестьянина из «ариана» и владельца «DKW» имелось все необходимое, чтобы герметически закрыть багажник «каравеллы». Когда они начинали работу, к ним подошла девушка из «дофина» и, дрожа, вцепилась в руку инженера. Он тихонько рассказал ей о случившемся и, уже несколько успокоенную, проводил обратно в машину. Таунус с товарищами положили тело в багажник, а владелец «DKW» при свете фонарика, который держал солдат, принялся орудовать изоляционной лентой и тюбиками с клеем.

Поскольку жена «двести третьего» умела водить машину, Таунус решил, что ее муж возьмет на себя «каравеллу», стоявшую справа от «двести третьего», а утром девочка обнаружила, что у ее папы есть еще одна машина, и часами развлека-

лась и играла, переходя из одной в другую, и даже перенесла часть своих игрушек в «каравеллу».

Впервые холод стал ощущаться также и в полдень, и никто уже не думал скидывать пиджак. Девушка и монахини составили список имевшихся в группе пальто и других теплых вещей. Кое-кто неожиданно обнаружил у себя в чемоданах, в автомобилях пуловеры, одеяла, плащи или легкие пальто. Их тоже переписали и распределили. Снова вышла вся вода, и Таунус послал троих из своих подопечных, в том числе инженера, наладить связи с местными жителями. Трудно сказать почему, но их сопротивление было повсеместным; стоило сойти с шоссе, как откуда-нибудь обрушивался град камней. Ночью кто-то запустил в машины косой — она ударилась о крышу «DKW» и упала рядом с «дофином». Торговый агент побледнел и не двинулся с места, но американец из «десото» (не входивший в группу Таунуса, но пользовавшийся всеобщей симпатией за остроумие и веселый смех) выскочил из машины, схватил косу и, покрутив ею над головой, швырнул обратно в поле, послав вслед громкое проклятье. Таунус, однако, полагал, что не стоит обострять враждебность; может быть, им еще удастся выйти за водой.

Уже никто не вел счет метрам, на которые они продвинулись в эти дни. Девушка из «дофина» полагала — на восемьдесят или двести; инженер был настроен менее оптимистически, но развлекался тем, что продлевал и усложнял подсчеты своей соседки и время от времени делал попытки отбить ее у торгового агента из «DKW», который ухаживал за ней на свой, профессиональный лад. В тот же вечер молодой человек, которому поручили «флориду», пришел к Таунусу и сообщил, что владелец «форда-меркури» предлагает воду по дорогой цене. Таунус отказался, но к вечеру монахиня попросила у инженера глоток воды для старушки из «ситроена», которая мучилась, но не жаловалась: муж не выпускал ее руки, и монахини и девушка из «дофина» по очереди ухаживали за ней. Оставалось пол-литра воды, и женщины предназначили ее для старушки и дамы из «болье». В ту же ночь Таунус заплатил из своего кармана за два литра воды; Форд Меркури пообещал на следующий день достать еще, но за двойную цену.

Собраться и поговорить обо всем было трудно, — стоял такой холод, что никто не выходил из машины, кроме как по неотложной нужде. Батарейки начали разряжаться, и нельзя было

надолго включать отопление; Таунус решил, что два наиболее комфортабельных автомобиля нужно выделить на всякий случай для больных. Завернувшись в одеяла и тряпки (ребята из «симки» сняли чехлы с сидений своей машины, соорудили себе из них душегрейки и шапки, а остальные начали им подражать), каждый старался по возможности реже открывать дверцы, чтобы сберечь тепло. В одну из таких промозглых ночей инженер услышал отчаянный крик девушки из «дофина». Понемногу, неслышно он приоткрыл дверцу ее машины, нащупал в темноте ее лицо и погладил мокрую щеку. Почти без сопротивления девушка дала увести себя в «четыреста четвертый», инженер помог ей улечься на сиденье, укрыл единственным одеялом и положил сверху свой плащ. Тьма в машине, превращенной в санитарную, была еще более густой, ведь стекла были затянуты брезентом. Потом инженер опустил оба солнцезащитных щитка и повесил на них свою рубашку и свитер, чтобы полностью затемнить машину Перед самым рассветом девушка сказала ему на ухо, что еще до того, как она расплакалась, ей показалось, что она видит далеко справа огни какого-то города.

Возможно, это и был город, но из-за утреннего

тумана не удавалось ничего разглядеть дальше чем на двадцать метров. Как ни удивительно, в этот день колонна продвинулась вперед на порядочное расстояние, может, на двести или триста метров. И тогда же по радио (которое почти никто не слушал — за исключением Таунуса, чувствовавшего себя обязанным быть в курсе событий) передали новое сообщение; дикторы с упоением говорили о принятии особых мер для освобождения шоссе и ссылались на самоотверженную работу дорожных бригад и полиции. Внезапно одна из монахинь начала бредить. Пока ее приятельница ошеломленно смотрела на нее, а девушка из «дофина» смачивала ей виски остатками духов, монахиня говорила что-то об Армагедоне, о девятом дне, о какой-то цепи.

Много позже, под снегом, который начал падать с полудня и постепенно засыпал автомашины, пришел врач. Он выразил сожаление, что нельзя сделать успокаивающий укол, и посоветовал положить монахиню в машину с хорошим отоплением. Таунус поместил ее в свой автомобиль, а мальчик перебрался в «каравеллу», где была также его маленькая приятельница из «двести третьего»; они играли со своими игрушечными автомобилями и очень веселились — ведь они

единственные не испытывали голода. Весь этот и следующий день снегопад почти не прекращался, и когда колонне предстояло продвинуться на несколько метров, нужно было придумывать, как и чем расчистить снежные сугробы, выросшие между машинами.

Никому не приходило в голову удивляться, что продукты и вода распределяются так, а не иначе. Единственное, что мог сделать Таунус, это руководить распределением общих запасов и постараться извлечь побольше пользы из некоторых обменов. Форд Меркури и еще Порш каждый вечер торговали съестным. Таунус и инженер взялись распределять продукты в соответствии с физическим состоянием каждого. Невероятно, однако старушка из «ситроена» все еще жила, хотя находилась в полузабытьи, из которого женщины старались ее вывести. Дама из «болье», страдавшая несколько дней назад от тошноты и головокружения, благодаря похолоданию пришла в себя и больше других помогала монахине ухаживать за ее приятельницей, по-прежнему слабой и несколько одурманенной.

Жены солдата и Двести третьего опекали обоих детей; торговый агент из «DKW» — возможно, чтобы утешиться, поскольку хозяйка «дофина»

предпочла инженера, — часами рассказывал детям сказки.

По ночам люди вступали в другую жизнь, тайную и глубоко частную; неслышно отворялись дверцы машин, чтобы впустить или выпустить съежившийся силуэт; никто не глядел на других, глаза были так же слепы, как сам мрак. Под грязными одеялами в затхлом воздухе, издававшем запах склепа и заношенного белья, эти люди с грязными, отросшими ногтями добывали себе немного счастья. Девушка из «дофина» не ошиблась: вдалеке сверкал огнями город, они постепенно приближались к нему. К вечеру молодой человек из «симки», неизменно закутанный в обрывки драпировки и зеленое рядно, взбирался на крышу своей машины и замирал там, словно часовой.

Устав тщетно исследовать горизонт, он озирал в тысячный раз окружавшие его автомобили; с некоторой завистью обнаруживал Дофин в автомобиле Четыреста четвертого, руку, поглаживающую тонкую шею, завершение поцелуя. Шутки ради, теперь, когда дружба с Четыреста четвертым была восстановлена, он кричал им, что колонна сейчас тронется; тогда Дофин вынуждена была покидать Четыреста четвертого

и пересаживаться в свою машину, но вскоре она возвращалась в поисках тепла, а парню из «симки», должно быть, так хотелось тоже привести в свою машину какую-нибудь девушку из другой группы, но нечего было и думать об этом в такой холод, да еще с подведенным от голода животом, не говоря уже о том, что группа, находившаяся непосредственно впереди них, откровенно враждовала с группой Таунуса после истории с тюбиком сгущенного молока, и, не считая официальных связей с Фордом Меркури и Поршем, с другими группами отношения были практически невозможны. И парень из «симки» лишь досадливо вздыхал и снова занимал свой пост, до тех пор пока снег и холод не загоняли его, дрожащего, в машину.

Однако холод начал слабеть, и после дождей и ветров, которые довели всех до состояния крайне нервного напряжения и осложнили добычу продовольствия, наступили прохладные солнечные дни, когда можно было выйти из машины, нанести визит соседу, вновь завязать отношения с другими группами. Главы групп обсудили положение, и в конце концов было принято решение помириться с соседями впереди. О внезапном исчезновении Форда Меркури говорили долго, но

никто не знал, что могло с ним случиться; однако Порш попрежнему посещал и контролировал черный рынок. Всегда был какой-то запас воды или консервов, хотя эти запасы таяли, и Таунус с инженером пытались угадать, что произойдет в тот день, когда уже не останется денег, которые можно будет отнести к Поршу. Подумывали даже о насильственных мерах — предлагали захватить Порша и заставить его открыть источник продовольствия, но как раз в эти дни колонна продвинулась на большое расстояние, и руководители группы предпочли подождать еще, избегнув таким образом риска испортить все. Инженера, которым в конце концов овладело почти приятное безразличие, на миг взволновало робкое признание девушки из «дофина», но, подумав, он решил, что никак не мог избежать этого, и мысль иметь от нее сына в конце концов показалась ему такой же естественной, как вечернее распределение продуктов или тайные вылазки к обочине шоссе. Даже смерть старушки из «ситроена» не могла никого удивить. Пришлось снова поработать глубокой ночью, сидеть с мужем и утешать его, ибо он отказывался понимать случившееся. Двое из передней группы подрались, и Таунус должен был выступить

третейским судьей и как-то решить их спор. Все совершалось вдруг, без предварительного плана; главное началось тогда, когда уже никто этого не ожидал, и самый беззаботный из всех первым понял, что произошло. Вскарабкавшись на крышу «симки», веселый часовой подумал, что горизонт, пожалуй, как-то изменился (день клонился к вечеру, желтоватое солнце источало свой скользящий скудный свет) и что метрах в пятистах, трехстах, двухстах происходит что-то неуловимое. Он позвал Четыреста четвертого.

Четыреста четвертый сказал что-то Дофин, она быстро перебралась в свою машину, Таунус, солдат и крестьянин уже бежали с разных сторон, а с крыши «симки» парень указывал вперед и бесконечно повторял радостную весть, словно хотел убедиться, что то, что он видит, — правда; затем послышался шум, оживление, что-то похожее на тяжелое, но безудержное движение, пробуждение от бесконечного сна и пробу сил. Таунус громко велел всем вернуться к машинам; «болье», «ситроен», «фиат-600» и «десото» взяли с места в едином порыве. Теперь начинали двигаться «2HP», «таунус», «симка» и «ариан», и парень из «симки», гордый, как победитель, обернулся к Четыреста четвертому и махал ему рукой,

пока «пежо-404», «дофин», «2HP» с монахинями и «DKW», в свою очередь, не тронулись с места.

Однако всем хотелось знать, как долго это продлится; Четыреста четвертый интересовался этим почти по инерции, стараясь тем временем держаться на одной линии с Дофин, и ободряюще улыбался ей.

Позади уже трогались «фольксваген», «каравелла», «двести третий» и «флорида», сначала на первой скорости, затем на второй, бесконечно долго на второй, но уже не выключая мотора, как бывало столько раз, нога уверенно нажимает на акселератор, вот-вот можно перейти на третью скорость. Четыреста четвертый протянул левую руку и встретил руку Дофин, чуть коснулся кончиков ее пальцев, увидел на ее лице улыбку надежды и неверия и подумал, что они скоро приедут в Париж и вымоются, куда-нибудь пойдут вместе — к нему или к ней — вымыться, поесть и снова будут мыться, мыться до бесконечности, и есть, и пить, а потом уже все прочее, спальня, обставленная как полагается, и ванная комната, и мыльная пена, и бритье, настоящее бритье, и уборная, обед и уборная, и простыни. Париж — отхожее место, и две простыни, и струи горячей воды, стекающей по груди и ногам, и ма-

никюрные ножницы, и белое вино, они выпьют белого вина, прежде чем поцеловаться и почувствовать, что оба пахнут лавандой и одеколоном, прежде чем познать друг друга по-настоящему, при сиянии дня, на чистых простынях, и снова купаться играючи — любить друг друга, и купаться, и пить, и войти в парикмахерскую, войти в ванную, погладить рукой простыни, и гладить друг друга на простынях, и любить друг друга среди пены, лаванды, разных щеток и щеточек, прежде чем начать думать о том, что предстоит делать, о сыне, о разных разностях и о будущем, и все это, если они не задержатся, если колонна будет двигаться, — раз уж сейчас нельзя перейти на третью скорость, пусть по-прежнему на второй, но двигаться. Коснувшись бампером «симки», Четыреста четвертый откинулся на спинку сиденья, почувствовал, как возрастает скорость, понял, что может нажать на акселератор, не боясь наскочить на «симку», и что «симка» нажимает, не опасаясь ударить «болье», и что сзади идет «каравелла», и что скорость этих машин все растет и растет, и что можно, не опасаясь за мотор, переходить на третью скорость, и рычаги — почти невероятно — стоят на третьей скорости, и ход сделался мягким и все еще

убыстрялся, и Четыреста четвертый поглядел нежным затуманенным взглядом влево, отыскивая глаза Дофин. Естественно, что при такой скорости, параллельность рядов нарушилась. Дофин опередила его почти на метр, и Четыреста четвертый видел ее затылок и еле-еле профиль, как раз тогда, когда она оборачивалась, чтобы взглянуть на него, и сделала удивленный жест, заметив, что Четыреста четвертый все больше отстает. Стараясь успокоить ее улыбкой, Четыреста четвертый резко нажал на акселератор, но почти тут же вынужден был затормозить, так как чуть не наскочил на «симку», он коротко надавил гудок — молодой человек из «симки» поглядел на него через заднее стекло и жестом объяснил, что ничего не может поделать, указывая левой рукой на «болье», прижавшееся к его машине. «Дофин» шел на три метра впереди, рядом с «симкой», и девочка из «двести третьего», шедшего рядом с «четыреста четвертым», махала руками и показывала ему свою куклу. Красное пятно справа озадачило Четыреста четвертого; вместо «2НР», принадлежавшего монахиням, или солдатского «фольксвагена» он увидел незнакомый «шевроле», и почти тотчас «шевроле» вырвался вперед, а за ним «ланча» и «рено-8». Слева в паре с ним

шел «ситроен», постепенно опережая его метр за метром, но, прежде чем его место занял «пежо». Четыреста четвертому удалось разглядеть впереди «двести третий», который заслонил от него «дофина». Группа рассыпалась, она уже не существовала, «таунус», должно быть, шел где-то на два десятка метров впереди, за ним «дофин», в то же время третий ряд слева отставал, потому что вместо знакомого «DKW» перед глазами у Четыреста четвертого маячил задник старого черного фургона, может быть «ситроена» или «пежо».

Автомобили мчались на третьей скорости, то обгоняя друг друга, то отставая, в зависимости от ритма движения всего ряда, а по сторонам шоссе бежали деревья, домики, окруженные туманом и вечерними сумерками. Потом зажглись красные огни, каждый включал их вслед за впереди идущим. Ночная тьма стала быстро сгущаться. Изредка звучали гудки, стрелки спидометров ползли все выше, некоторые ряды шли со скоростью семьдесят километров, другие — шестьдесят пять, третьи — шестьдесят. Четыреста четвертый все еще надеялся, что, то вырываясь вперед вместе со своим рядом, то отставая, он поравняется в конце концов с Дофин, но каждый следующий момент убеждал его в тщетности его надежд

— ведь группа рассыпалась раз и навсегда, и больше не повторятся ни привычные встречи, ни ритуальный дележ продуктов, ни военные советы в машине Таунуса, ни ласки Дофин в безмятежном покое рассвета, ни смех детей, играющих со своими машинами, ни монахиня, перебирающая четки.

Когда зажглись огни, — знак, что «симка» тормозит, Четыреста четвертый сбавил ход с нелепым ощущением какой-то надежды и, затормозив, выскочил из машины и бегом кинулся вперед. За «симкой» и «болье» (сзади оставалась «каравелла», но это его не интересовало) он не узнал ни одной машины; через незнакомые стекла с удивлением, а может быть и возмущением, глядели на него чужие, ни разу не встречавшиеся ему лица. Гудели гудки, и Четыреста четвертый вынужден был вернуться к машине. Молодой человек из «симки» приветствовал его дружеским жестом, как бы выражая понимание, и ободряюще указал в сторону Парижа. Колонна снова начала двигаться, сперва несколько минут медленно, а затем так, словно шоссе окончательно освободилось. Слева от «четыреста четвертого» шел «таунус», и на какой-то момент инженеру показалось, что группа вновь собирается, что

вновь налаживается порядок, что можно двигаться вперед, ничего не разрушая.

Но «таунус» был зеленый, а за рулем сидела женщина в дымчатых очках, не мигая глядевшая вперед. Оставалось лишь отдаться движению, механически приспособиться к скорости окружающих машин, не думать. В «фольксвагене» у солдата лежала его кожаная куртка. У Таунуса — книга, которую он читал в первые дни.

Полупустой пузырек с лавандой — в машине у монахинь. Он поглаживал правой рукой плюшевого мишку, которого подарила ему Дофин вместо амулета. Как ни нелепо, он поймал себя на мысли о том, что в половине десятого будут распределять продукты и надо навестить больных, обсудить обстановку с Таунусом и крестьянином из «ариана», а потом настанет ночь, и Дофин неслышно скользнет к нему в машину, взойдут звезды, или набегут тучи, будет жизнь. Да, так и должно быть, невозможно, чтобы это кончилось навсегда. Может, солдату удастся достать немного воды, которую за последние часы почти всю выпили; так или иначе, можно рассчитывать на Порша, если заплатить ему, сколько он просит. А на радиоантенне яростно трепетал и бился флажок с красным крестом, и автомобили

мчались со скоростью восемьдесят километров в час к огням, которые все росли, расплывались, и уже никто не знал, зачем нужна эта бешеная скорость, зачем нужен этот стремительный бег машин в ночи среди других, незнакомых машин, и никто ничего не знал о другом, все пристально смотрели вперед, только вперед.

Здоровье больных

Когда тетя Клелия вдруг заболела, все страшно растерялись. Даже дядя Роке и тот поддался общей панике, а уж он-то всегда был человеком деловым и находчивым. Карлосу немедленно позвонили в контору. Роса и Пепа отменили уроки музыки и отослали учеников домой. И даже тетю Клелию куда больше беспокоила мама, нежели собственное здоровье; с ней все обойдется, в этом она не сомневалась, а вот маму, с ее давлением, с ее сахаром, нельзя волновать по пустякам… Ведь не зря же доктор Бонифас сразу согласился с тем, что маме ни под каким видом не следует говорить правду об Алехандро. И теперь, если тетю Клелию надолго уложат в постель, придется придумывать что-то, чтобы мама ничего не заподозрила… И надо же такому случиться, когда все так немыслимо осложнилось с Алехандро! Малейший промах, малейшая неосторожность — и мама догадается. Что с того, что дом у них большой! Мама, как на грех, слышала каждый шорох и каким-то чутьем знала, кто где находится. Пепе удалось поговорить с доктором Бонифасом по телефону,

и она предупредила всех, что доктор обещал освободиться как можно скорее, что входная дверь будет открыта и он придет без звонка. Пока Роса и дядя Роке хлопотали возле тети Клелии, которая дважды теряла сознание и жаловалась на невыносимую головную боль, Карлос сидел у мамы. Сейчас он занимал ее разговорами о Бразилии и читал ей последние известия. Мама была в хорошем настроении и даже не вспоминала о пояснице, мучившей ее в послеобеденные часы; однако каждого, кто входил в спальню, мама спрашивала, что случилось и почему у всех такой взволнованный вид. Словно сговорившись, все вспоминали о низком атмосферном давлении и о том, что хлеб теперь пекут с какими-то вредными химическими примесями. К чаю пришел дядя Роке: настал его черед беседовать с мамой, а Карлос, быстро приняв душ, спустился вниз, чтобы там дождаться доктора Бонифаса. Тетя Клелия чувствовала себя лучше, но все же она явно потеряла интерес ко всему, что так занимало ее до второго обморока, и не могла пошевелить даже пальцами. Пепа и Роса, по очереди дежурившие возле постели тети Клелии, так и не уговорили ее выпить чашечку чая или хоть глоточек воды. Но как бы там ни было, к вечеру в доме стало спо-

койнее. Всем хотелось верить, что у тети Клелии нет ничего серьезного и что на другой день она в добром здравии появится в маминой спальне.

Вот с Алехандро — дело сложнее! Ведь он погиб в автомобильной катастрофе возле Монтевидео, где жил его приятель, тоже инженер по профессии. Прошел почти год с того страшного дня, а всем в доме казалось, что это случилось только вчера. Всем, кроме мамы! Мама знала, что Алехандро живет в Бразилии, где по контракту с одной из фирм города Ресифе строит цементный завод. После долгой беседы с доктором Бонифасом никто и думать не смел о том, что маму нужно как-то подготовить, намекнуть ей об аварии, мол, так и так, — Алехандро тоже пострадал, но не сильно… Даже Мария Лаура, которая в первые дни была, можно сказать, на грани помешательства, даже она согласилась с тем, что маме ни в коем случае нельзя говорить о несчастии. Карлос и отец Марии Лауры тут же уехали в Уругвай за телом Алехандро, а остальные с ног сбились в хлопотах с мамой, так ей нездоровилось в те дни. В главном зале клуба инженеров (разумеется, с разрешения администрации) был установлен гроб с телом Алехандро, так что все родные, кроме Пепы, — мама не отпускала ее ни на шаг, — су-

мели хоть короткое время побыть там и немного поддержать окаменевшую от горя Марию Лауру. Конечно, думать обо всем пришлось дяде Роке. На рассвете он высказал свои соображения Карлосу, а тот беззвучно плакал, уронив голову на обитый зеленым сукном стол, за которым они с Алехандро столько раз играли в карты. Чуть позже к ним подсела тетя Клелия. За всю ночь мама ни разу не проснулась, и можно было оставить ее одну. Прежде всего, с молчаливого согласия Росы и Пепы решили не показывать маме «Насьон» — мама нет-нет, а почитывала эту газету, — и все, как один, одобрили то, что придумал дядя Роке. Весьма солидная бразильская фирма предложила Алехандро выгодный контракт на год. Алехандро распрощался с приятелем в Монтевидео, наскоро собрал свои вещи и первым самолетом вылетел в Бразилию. Маме, разумеется, надо сказать всякие слова насчет нынешних нравов, что теперь, мол, все по-другому и предприниматели — народ черствый, ну, а Алехандро — это самое главное — сумеет вырваться домой на недельку в середине года. Мама отнеслась ко всему лучше, чем ожидали, хотя дело не обошлось без слез и нюхательной соли. Карлос — вот кто умел развеселить маму — сказал, что это просто стыд плакать, ко-

гда у ее младшего любимого сына такие успехи. Алехандро огорчился бы, узнав, как отнеслись к его делам в родном доме. Мама сразу утихла и сказала, что, пожалуй, не прочь выпить наперсточек малаги за здоровье Алехандро. Карлос тут же выскочил из комнаты, будто за вином, но вино принесла Роса и сама выпила с мамой. Да… жизнь у мамы была мучительная, и, хотя она редко жаловалась, ее не оставляли одну и постоянно старались чем-нибудь развлечь. Когда в четверг, на другой день после похорон, мама удивилась, что нет Марии Лауры — она всегда бывала у них по четвергам, — Пепа добежала в дом к старым Новали, чтоб поговорить с Марией Лаурой.

Тем временем дядя Роке сидел в кабинете у своего приятеля адвоката и объяснял ему все тонкости дела. Адвокат вызвался незамедлительно написать своему брату в Ресифе (спасибо, что города в мамином доме выбирают с умом) и наладить переписку. Доктор Бонифас, заглянувший к маме как бы мимоходом, сказал, что с глазами куда лучше, но утомлять их нельзя и с газетами — повременить. Тетя Клелия взялась пересказывать маме самые интересные новости; к счастью, мама вообще не выносила радио, и в особенности дикторов. У них противные голоса,

и потом чуть ли не каждую минуту нелепые рекламы сомнительных лекарств, и люди на свою голову принимают их без всякого разбора!

Мария Лаура пришла в пятницу вечером. Она пожаловалась, что экзамен по архитектуре отнял у нее очень много сил.

— Да, мой ангел, — сказала мама, ласково глядя на нее, — у тебя совсем красные глаза, и это никуда не годится! Положи-ка на ночь компрессы с ромашкой. Поверь — лучшего средства нет!

Роса и Пепа, готовые в любую минуту подхватить разговор, никуда не отлучались, но Мария Лаура держалась молодцом, она даже улыбнулась, когда мама вдруг начала говорить, что хорош, мол, жених, взял да и уехал в такую даль и никому ни слова. Ну да что спросишь с теперешней молодежи: люди просто ума лишились; кругом спешка, суета, ни у кого ни на что нет времени. И тут пошли — уже в который раз! — бесконечные мамины воспоминания о родителях, о бабушке с дедушкой, о родне; потом подали кофе, и очень вовремя появился сияющий Карлос со своими шуточками и новыми анекдотами, да и дядя Роке, заглянув в спальню, улыбнулся такой милой, такой располагающей улыбкой… Словом, все шло как всегда.

Постепенно в доме свыклись с этой сложной игрой. Труднее всех было, пожалуй, Марии Лауре, но зато она навещала маму только по четвергам, один раз в неделю. Настал день, когда пришло первое письмо от Алехандро (мама уже дважды возмущалась его молчанием), и Карлос прочел это письмо, пристроившись в ногах у мамы. Алехандро был в полном восторге от Ресифе. Он во всех подробностях рассказывал о порте, о продавцах попугаев, о великолепных прохладительных напитках. Подумать только — тут все ахнули от удивления, — ананасы почти даром, а кофе необыкновенно ароматный… Мама попросила показать ей конверт и велела отдать марки младшему сыну Марольдов. Будь ее воля, она бы запретила детям возиться с марками, они же никогда не моют рук, а марки, как известно, гуляют по всему свету.

— Да, да! Марки же приклеивают слюной, — говорила мама. — И на них полно микробов. Ведь каждый знает, что микробы очень стойкие… Ну да какая разница… Одной маркой меньше, одной больше!

На другой день мама позвала Росу и продиктовала ей письмо к Алехандро, в котором спрашивала, когда он получит отпуск и не слишком

ли дорого обойдется ему поездка домой. Она самым обстоятельным образом рассказала о своем здоровье, не забыла сообщить, что Карлоса повысили в должности, вспомнила о премии, которую получил один из самых способных учеников Пепы и, уж конечно, не преминула написать сыну, что Мария Лаура навещает их дом усердно, не пропуская ни одного четверга, — бедняжка много работает и совершенно не щадит своих глаз. Когда с письмом было покончено, мама поцеловала исписанные листки бумаги и поставила карандашом свою подпись. Пепа тут же выскочила из комнаты, якобы за конвертами, и незамедлительно явилась тетя Клелия с новыми цветами для вазы на комоде и с таблетками, которые прописаны маме на пять часов.

Да… каждый шаг давался нелегко. И когда у мамы резко поднялось давление, невольно подумалось: а вдруг это результат того внутреннего беспокойства и отчаяния, которое, как они ни бьются, проступает, быть может, наружу, несмотря на все меры предосторожности и притворное веселье? Нет, об этом не могло быть и речи! Ведь все их деланные, заранее приготовленные улыбки так часто завершались самым искренним смехом в комнате у мамы! А сколько раз, позабыв

обо всем на свете, они шутили, затевали веселую возню там, где больная мама не могла ни увидеть их, ни услышать. Правда, в разгар веселья они вдруг спохватывались и отводили глаза в сторону. Пепа заливалась краской, а Карлос, опустив голову, закуривал сигарету… В сущности, им больше всего хотелось, чтобы поскорее прошло самое страшное время и чтобы мама пока ни о чем не догадывалась. После очередного разговора с доктором Бонифасом вся семья твердо решила ни на шаг не отступать от того, что тетя Клелия назвала «трудами милосердия». Труднее всего были, бесспорно, визиты Марии Лауры: все разговоры в ее присутствии мама сводила к Алехандро, — и это понятно. Ведь маме хотелось знать, какие у них планы — будет ли свадьба, когда Алехандро приедет в отпуск, или ему взбредет в голову что-нибудь еще и он подпишет новый контракт неизвестно где и неизвестно на сколько. Хочешь не хочешь, а приходилось поминутно заглядывать в спальню и всячески занимать маму, чтобы она хоть на минуту оставила в покое Марию Лауру, которая сидела в кресле словно изваяние и до боли стискивала руки. Однажды мама спросила у тети Клелии, отчего это все толкутся в спальне, когда у нее бывает Мария

Лаура, — неужто нет другого времени поговорить с невестой Алехандро. Тетя Клелия рассмеялась и сказала, что Мария Лаура и Алехандро вроде бы одно целое, вот почему каждый хочет побыть с ней как можно больше.

— Ты права, Мария Лаура очень хорошая, — сказала мама. — И мой сыночек, бить его мало, такой девушки не заслуживает, клянусь тебе!

— Боже, что я слышу! — удивилась тетя Клелия. — Ведь стоит его имя произнести, ты уже млеешь от восторга.

Мама тоже засмеялась и вспомнила, что скоро придет письмо от Алехандро. Письмо пришло вовремя, и дядя Роке торжественно принес его на подносе вместе с чашкой свежезаваренного чая, который мама пьет в пять часов.

На этот раз мама сама пожелала прочесть письмо и попросила очки. Она читала очень медленно, словно смаковала каждое слово и каждую фразу.

— До чего непочтительна современная молодежь! — заметила мама как бы вскользь. — Хорошо еще, что в наши времена не было пишущих машинок, правда, я ни при каких обстоятельствах не посмела бы посылать такие письма ни вам, ни отцу…

— Еще бы! — подхватил дядя Роке. — С отцовским характером…

— А уж тебе, Роке, надо не надо, а лишь бы сказать что-нибудь нелестное о старике. И ведь знаешь прекрасно, что я это не люблю! Вспомни, что бывало с мамой…

— Ну хорошо, хорошо. О старике я так, к слову, но что молодежь непочтительна, это я согласен.

— И как странно, — сказала мама, снимая очки и обводя глазами узорчатый карниз, — я уже получила пять писем от Алехандро, и ни в одном он почему-то не называет меня… Ну да это наш секрет. И все-таки странно, знаешь… Ну хоть бы разочек он меня так назвал, а то…

— Может, ему неудобно писать тебе такое… Одно дело в разговорах называть тебя, а как, между прочим, он тебя называет?

— Это наш секрет. Только мой сыночек и я знаем как, — улыбнулась мама.

Пепа и Роса терялись в догадках, а Карлос в ответ на надоевшие ему расспросы лишь досадливо пожимал плечами:

— Ну чего ты от меня хочешь, дядя? Слава Богу, что я способен подделать подпись, а большего от меня и не ждите… Да и мама, наверное, скоро забудет об этом. Вовсе незачем принимать близко

к сердцу все ее причуды.

Жизнь шла своим чередом. Но однажды — месяцев пять спустя после этого разговора, — когда было получено очередное письмо от Алехандро, в котором он снова писал, что у него дел выше головы (хотя жаловаться грех, ибо лучшей работы для молодого инженера и не сыщешь), мама вдруг решительно потребовала, чтобы Алехандро взял отпуск и приехал в Буэнос-Айрес.

Росе, которая писала под мамину диктовку, показалось, что на сей раз мама с большим трудом подбирает слова и слишком долго обдумывает смысл каждой фразы.

— Поди знай, сумеет ли бедняжка приехать, — словно невзначай обронила Роса. — Обидно портить отношения с фирмой, когда все так хорошо складывается и он так доволен.

Мама продолжала диктовать письмо, не обратив ни малейшего внимания на Росины слова. Здоровьем она совсем слаба, и ей бы хотелось, чтоб Алехандро обязательно приехал, — ну, хоть дня на два, на три. Да и пора подумать о Марии Лауре. Никто, конечно, не сомневается, что Алехандро верен своей невесте, но для настоящей любви мало красивых слов и клятв, да еще на расстоянии. Заканчивая письмо, мама выразила

надежду, что сын порадует ее хорошими вестями в самом ближайшем будущем. Росе показалось странным, что мама не поцеловала, как обычно, письмо и уж очень долго вглядывалась в исписанные страницы, словно хотела сохранить их в памяти. «Бедный Алехандро!» — вздохнула про себя Роса и торопливо, тайком от мамы перекрестилась.

— Слушай, — обратился к Карлосу дядя Роке, когда они сели за вечернюю партию домино. — По-моему, наши дела плохи. Надо немедленно что-нибудь предпринять… иначе она, рано или поздно, догадается.

— Лично я не знаю, как быть. Вот если бы мама получила такое письмо от Алехандро, которое хоть на время могло бы ее успокоить… Бедняжка так плоха, что тут и думать не приходится…

— Никто и не говорит об этом, мой мальчик! Но я держусь того, что твоя мать умеет владеть собой и вообще как-никак она в семье, среди своих!

Мама молча прочла уклончивое письмо Алехандро, который обещал добиться отпуска, как только сдадут первый корпус завода. Зато вечером, когда пришла Мария Лаура, она сказала, что невесте самое время потребовать, чтобы жених приехал в Буэнос-Айрес хоть на недельку. Потом

в разговоре с Росой Мария Лаура отметила, что мама завела об этом речь, улучив тот момент, когда они остались с ней наедине. Да… дядя Роке, вот кто первый сказал вслух то, что всех тревожило и о чем никто пока не решался заговорить. И когда Роса под диктовку мамы написала еще одно письмо к Алехандро, в котором та еще настойчивее просила его приехать домой, на семейном совете решили, что пора — другого выхода нет — испытать судьбу и посмотреть, сумеет ли мама справиться с первым неприятным известием о сыне. Карлос переговорил с доктором Бонифасом, и тот посоветовал новые капли, а главное — осторожность! Прошло дней десять, и однажды вечером в маминой спальне появился дядя Роке. Он осторожно сел в ногах у мамы и глянул на Росу, которая посасывала мате, примостившись у столика с лекарствами, и что-то упорно разглядывала через окно.

— Вот видишь, теперь-то я понимаю, почему мой драгоценный племянничек не спешит домой! — сказал дядя Роке. — Он просто знает, что тебя, при твоем слабом здоровье, нельзя огорчать!

Мама смотрела на него непонимающими глазами.

— Сегодня мне звонил сам Новали. Кажется, Мария Лаура получила письмо от Алехандро. Он пишет, что все в порядке, но, как это ни жаль, никуда не сможет поехать в течение нескольких месяцев.

— Почему не сможет поехать? — спросила мама.

— У него что-то приключилось с ногой. Мы все выясним у Марии Лауры. Ее отец говорил о переломе ноги…

— О переломе?

Прежде чем дядя Роке сумел подыскать подходящий ответ, Роса уже стояла возле мамы с нюхательной солью наготове. Почти как по заказу явился доктор Бонифас, и через несколько часов все уладилось. Правда, эти часы тянулись мучительно долго, и доктору Бонифасу пришлось задержаться до поздней ночи. Через два дня мама чувствовала себя настолько сносно, что попросила Пепу написать письмо Алехандро. Но, когда Пепа, не вникнув в смысл маминых слов, пришла с бумагой и карандашом, мама закрыла глаза и качнула головой.

— Да пиши, что хочешь. Скажи, что надо беречь здоровье.

Пепа безропотно села возле маминой кровати

и зачем-то сочинила длинное письмо, она ведь знала уже, что мама не прочтет ни одной строчки. Тем же вечером Пепа сказала Карлосу, что она и ни на минуту не сомневалась в том, что мама не станет читать, подписывать это письмо. Мама открыла глаза, только когда ей принесли микстуру, казалось, она думает о чем-то другом и совсем забыла о письме.

Алехандро ответил в самом что ни на есть искреннем тоне, что он не хотел огорчать маму и посвящать ее в историю с переломом ноги. Стоило ли писать, что ему дважды накладывали гипс — первый раз неудачно? Вот теперь другое дело, теперь все в порядке, и через недельку-другую он сможет ходить. Словом, месяца два пропадет, не больше, но обидно, что в такой напряженный момент стала вся работа и…

Карлос, который вслух читал это письмо маме, сразу почувствовал, что она рассеянна и часто поглядывает на часы, а уж это верный признак маминого нетерпения и беспокойства. Было пять минут восьмого, в семь же часов Роса обычно приносила бульон и кашу, которые прописал доктор Бонифас.

— Ну вот видишь, — сказал Карлос, складывая письмо пополам. — Все в порядке, у твоего маль-

чика нет ничего страшного!

— Конечно, — согласилась мама. — Знаешь, поторопи Росу, ладно?

Зато Марию Лауру, которая очень подробно рассказала о том, как Алехандро сломал ногу, мама слушала с большим вниманием и даже посоветовала ей написать Алехандро о массаже. Именно массаж помог его отцу, когда он упал с лошади. И тут же, словно продолжая начатую фразу, мама попросила несколько капель лимонника — он быстро снимает головную боль.

Мария Лаура первая сказала обо всем напрямик. В тот же вечер перед самым уходом домой она остановила Росу в гостиной и призналась ей в своих сомнениях. Роса лишь молча посмотрела на Марию Лауру, словно не хотела и не могла верить собственным ушам.

— Вот вздор! — сказала Роса. — Как тебе в голову пришло такое?

— *Это* не вздор, а чистая правда! — ответила Мария Лаура. — И я больше никогда не приду в ее спальню. Что хотите просите, но больше я не приду!

В глубине души каждый понимал, что опасения Марии Лауры не так уж несуразны, но тетя Клелия сказала — и тут все с ней согласились, — что

долг есть долг и что об этом в их доме следует помнить. Роса пошла к Марии Лауре, но та разразилась такими рыданиями, что просить ее о чем-либо уже не было смысла. Вечером в мамину спальне Пепа и Роса все вздыхали и ахали над Марией Лаурой — бедняжка так убивает себя учебой, экзамены один другого труднее. Мама молчала, а в следующий четверг ни разу не спросила о Марии Лауре. В тот четверг исполнилось десять месяцев со дня отъезда Алехандро в Бразилию. Фирма высоко оценила молодого инженера, и ему предложили продлить контракт еще на год, но с условием — немедленно переехать в Белен, где строят новый завод. Дядя Роке пришел в восторг: это же блистательный успех — ничего лучшего и не придумаешь!

— Алехандро всегда был самым способным, — сказала мама, — а вот Карлос у нас самый упорный.

— Ты права, — согласился дядя Роке и тут же подумал, что Мария Лаура зря подняла переполох в их доме.

— Что и говорить, дорогая, тебе очень повезло с детьми.

— О да! Я на них не жалуюсь. Вот только отцу не привелось увидеть их взрослыми. Такие у

меня хорошие дочери, и Карлос, бедняжка, так печется о доме.

— И какое будущее у Алехандро!

— А, да… — сказала мама.

— Взять хотя бы этот новый контракт… Знаешь, когда у тебя будет настроение, напиши ему. У него, наверно, кошки скребут на сердце: ведь он думает, что тебя очень расстроило это известие.

— А, да… — повторила мама, уставившись в потолок. — Скажи Пепе, пусть напишет. Она знает, что и как.

Пепа вовсе не знала, о чем писать, но так или иначе, а текст письма нужно иметь под рукой, чтобы не было никакой путаницы с ответом. Алехандро, конечно, обрадовался тому, что мама поняла, как важно было не упускать такую счастливую возможность. С ногой все обошлось, и лишь только ему позволят дела, он попросит отпуск, чтоб приехать домой недельки на две. Мама качнула головой и тут же спросила насчет вечерней газеты — ей хотелось, чтоб Карлос прочел последние новости.

Жизнь в доме заладилась без особых усилий; больше неоткуда было ждать подвохов, и мамино здоровье, слава Богу, не внушало пока опасений. Все по очереди уделяли маме внимание. Дядя

Роке и тетя Клелия то и дело забегали к ней в спальню. Карлос читал газету по вечерам, а Пепа по утрам. Роса и тетя Клелия давали маме все назначенные лекарства, дядя Роке раза три-четыре в день пил в ее спальне чай. Мама никогда не оставалась одна, никогда не спрашивала о Марии Лауре, раз в три недели молча слушала, что пишет Алехандро, просила Пепу ответить ему поскорее и тут же переводила разговор на другую тему — всегда внимательная, всегда умная и все же какая-то отчужденная.

Именно в это время дядя Роке начал читать маме сообщения о назревающем конфликте между Аргентиной и Бразилией. Вначале он писал эти сообщения на полях газеты, а потом стал придумывать их с ходу, благо маму совсем не заботили красоты стиля. Разумеется, дядя Роке строил всяческие предположения о том, как это скажется на судьбе Алехандро и других аргентинцев в Бразилии, но, видя мамино равнодушие, он прекратил рассуждать о газетных новостях, хотя день ото дня они становились все более тревожными. Сам Алехандро тоже намекал в своих письмах на угрозу разрыва дипломатических отношений, но, будучи оптимистом по натуре, он все же верил, что в конце концов министры иностранных дел

уладят затянувшийся спор.

Мама большей частью молчала, должно быть, понимала, что отпуск Алехандро откладывался надолго. Но однажды она спросила у доктора Бонифаса, правда ли, отношения с Бразилией так плохи, как об этом пишут в газетах.

— С Бразилией? Что тут сказать… дела не блестящие, — ответил доктор. — Но при всем при том у наших правителей есть здравый смысл…

Мама глянула на него так, словно ее озадачил ответ, в котором не было и тени тревоги. Она легонько вздохнула и заговорила о другом. В этот вечер мама была оживленна более обычного, и доктор Бонифас остался ею доволен. А на другой день заболела тетя Клелия. Вообще-то к ее обморокам отнеслись без особого страха, с кем-де не бывает, но доктор Бонифас посоветовал дяде Роке как можно скорее положить тетю Клелию в больницу. Маме, которая слушала, что происходит в Бразилии (Карлос читал ей вечернюю газету), сказали, что у тети Клелии мигрень и что она не в силах встать с кровати. Впереди была целая ночь — времени хватало, чтобы обдумать все как следует, только вот дядя Роке совсем потерялся после разговора с доктором Бонифасом, и пришлось обойтись без его помощи. Слава

Богу, что Росу осенила мысль о даче Манолиты Валье, тетиной подруги. Наутро Карлос так ловко повел разговор с мамой, что вышло, будто мама сама предложила отвезти тетю Клелию на дачу, где свежий воздух и где она быстро поправится. Приятель Карлоса по службе любезно предложил свою машину — с такой мигренью ехать поездом просто немыслимо. Тетя Клелия сама пожелала проститься с мамой, и Карлос с дядей Роке, взяв тетю Клелию под руки, с трудом — шажок за шажком — довели ее в спальню к маме, а мама все просила беречься простуды (в этих дурацких машинах всегда сквозняк) и, главное, есть перед сном сливы — они лучше всякого слабительного.

— У Клелии сильный прилив крови! — сказала мама Пепе. — Она производит очень плохое впечатление.

— Да нет… Все это пустяки. На даче тетя Клелия сразу поправится. Она, бедняжка, устала за эти месяцы. Манолита, я помню, много раз приглашала ее на дачу.

— Странно! Мне Клелия ни разу об этом не говорила.

— Должно быть, не хотела тревожить тебя по-пустому.

— А сколько времени она там пробудет?

Пепа не знала, но обещала спросить у доктора Бонифаса, ведь он первый и посоветовал тете Клелии уехать на дачу. Мама три дня спустя снова вернулась к этому разговору (у тети Клелии ночью был тяжелейший приступ, и Роса поочередно с дядей дежурили у ее постели).

— Я хочу знать, когда приедет Клелия!

— Ну будет тебе, мама! Бедняжка в кои-то веки вырвалась подышать свежим воздухом.

— Да, но, по вашим словам, у нее нет ничего такого…

— Конечно, нет! Ей просто захотелось отдохнуть и вообще побыть с Манолитой… Сама знаешь, что они давние подруги.

— Позвони на дачу и спроси, когда она вернется! — настаивала мама.

Роса, разумеется, позвонила на дачу, и ей сказали, что тетя Клелия поправляется, но еще слаба и пока побудет на даче. А главное — погода стоит великолепная!

— Все это мне не по душе, — сказала мама. — Клелии давно пора вернуться.

— Мама, ну зачем так волноваться? Вот окрепнешь и сама поедешь на дачу к Манолите — погреешься на солнышке…

— Я? — В мамином взгляде было все: и удивле-

ние, и обида, и даже злость.

Карлос громко рассмеялся и, пряча глаза (тетя Клелия была в тяжелейшем состоянии — только что звонила Пепа), поцеловал маму в щеку.

— Вот глупенькая! — сказал он так, как говорят напроказившему ребенку.

В эту ночь мама почти не спала и, едва рассвело, спросила о Клелии, хотя в такую рань никто не мог звонить с дачи (тетя Клелия только-только скончалась, и все решили, что бдение возле гроба с ее телом надо устроить прямо в покойницкой). В восемь утра звонили на дачу из гостиной, чтобы мама могла слышать весь разговор. К счастью, тетя Клелия хорошо провела ночь, но домашний врач Манолиты все еще настаивает не спешить с отъездом, пока такая чудесная погода. Карлос, несказанно довольный тем, что его контора закрылась наконец на учет, явился в утренней пижаме в мамину спальню, пил не торопясь чай и болтал о разных разностях.

— Слушай, Карлос, — сказала мама. — Я считаю, что надо написать Алехандро. Пусть он приедет и навестит тетю. Ведь он всю жизнь был ее любимчиком, ему грех не приехать.

— Ну, мамочка, у тети Клелии нет ничего серьезного, уверяю тебя. Уж если Алехандро не смог

вырваться к тебе, то тут — подумай сама…

— Он себе как хочет, — сказала мама, — а ты напиши и скажи, что тетя Клелия больна и следует навестить ее.

— Да с чего ты взяла, что тетя Клелия серьезно больна?

— Если не серьезно — тем лучше. Разве так уж трудно написать?

В тот же вечер письмо было написано и прочитано маме. А к тому времени, когда должен был прийти ответ от Алехандро (тетя Клелия чувствовала себя гораздо лучше, но вот врач пока не отпускал ее домой и советовал побыть еще немного на свежем воздухе), отношения с Бразилией настолько ухудшились, что Карлос стал опасаться, как бы не пропало письмо. При таких обстоятельствах, не дай Бог, почта может работать с большими перебоями.

— Ему это на руку, — усмехнулась мама. — Да и сам он не приедет, помяните мое слово!

Никто не мог собраться с духом и прочитать маме письмо от Алехандро. Дядя Роке, Карлос и сестры подолгу сидели в гостиной, вздыхали, глядя на пустое кресло тети Клелии, и растерянно, вопрошающе смотрели друг на друга.

— Что за бред! — сказал Карлос. — Мы же при-

выкли к этому. Одной сценой больше, одной меньше…

— Вот и ступай сам! — сквозь слезы сказала Пепа и принялась вытирать салфеткой глаза.

— Нет, что ни говори, а в чем-то мы сплоховали. Я вот вхожу в мамину спальню с опаской… ну словно боюсь в западню попасть.

— И ведь виновата в этом только Мария Лаура, — сказала Роса. — У нас и в мыслях такого не было, а теперь мы ведем себя натянуто, неестественно. И в довершение всего — тетя Клелия!

— Знаешь, пока я тебя слушал, мне подумалось, что именно с Марией Лаурой и надо переговорить, — сказал дядя Роке. — Лучше всего, если она, якобы после экзаменов, навестит маму и скажет ей, что Алехандро пока не сможет приехать.

— А у тебя не стынет кровь оттого, что мама совсем не вспоминает о Марии Лауре, хотя Алехандро спрашивает о ней в каждом письме?

— При чем здесь моя кровь? Сейчас мы говорим о деле, и тут — либо да, либо нет! Одно из двух…

Роса долго упрашивала Марию Лауру, и та в конце концов согласилась, не смогла отказать самой близкой подруге. Да и вообще она любила всех в этом доме, даже маму, хотя очень робела в ее присутствии. Словом, через несколько дней

Мария Лаура явилась к ним с письмом — его заранее написал Карлос, с букетом цветов и коробкой маминых любимых конфет — мандариновый пат. Да… к счастью, все самые трудные экзамены позади, и Мария Лаура сможет отдохнуть несколько недель в Сан-Висенте.

— Тебе свежий воздух пойдет на пользу, — сказала мама. — А Клелия, та… Пепа, ты звонила сегодня на дачу? Ах, да! Что за память! Ты же говорила… Подумать только, три недели Клелия на даче — и вот, пожалуйста…

Мария Лаура и Роса обсудили все подробности этой истории. А когда принесли чай, Мария Лаура прочла отрывки из письма Алехандро, где говорилось о том, что всех зарубежных специалистов интернировали и что очень забавно прохлаждаться в прекрасном отеле за счет бразильского правительства в ожидании, пока министры восстановят согласие. Мама не обронила ни единого слова, выпила чашечку липового чая и задремала. Подруги перешли в гостиную и уж там наговорились вволю. Перед самым уходом у Марии Лауры возникла вдруг эта роковая мысль о телефоне. Она тут же рассказала обо всем Росе, а та, по правде говоря, ждала, что и Карлос заговорит об этом. Чуть позже Роса поделилась своими

сомнениями с дядей Роке, но он лишь хмыкнул и пожал плечами. В таких случаях лучше помолчать или углубиться в чтение газеты… Карлос не стал ломать голову и строить догадки по поводу мамы, но, по крайней мере, он не отмахнулся от того, что никто не хотел принимать.

— Поживем — увидим! — сказал он Росе и Пепе. — Очень может быть, что она и попросит об этом, а уж тогда…

Но мама ни разу не попросила принести телефон, у нее так и не возникло желания поговорить с тетей Клелией. По утрам она всегда спрашивала, что нового на даче, а потом погружалась в молчание; время в ее спальне отмерялось каплями, микстурой и настойками. Мама не без удовольствия встречала дядю Роке, однако не выказывала никаких признаков волнения, если газету приносили поздно или дядя Роке засиживался за шахматами. Роса и Пепа пришли к выводу, что мама вообще потеряла интерес и к газетам, и к звонкам на дачу, и даже к письмам от Алехандро. И все-таки полной уверенности не было ни в чем, да и мама вскидывала порой голову и смотрела на них своим проникающим взглядом, в котором по-прежнему проступало что-то упорное и непримиримое. Постепенно все

втянулись в эту странную жизнь. Росе ничего не стоило разыгрывать каждый день комедию с телефоном и говорить в пустоту, дядя Роке с легкостью читал придуманные статейки о Бразилии, развернув газету там, где были рекламы и футбольные новости, Карлос уже в дверях маминой спальни начинал свои рассказы о поездке на дачу, о пакетах с фруктами, которые им посылали тетя Клелия и Манолита.

Последние месяцы маминой жизни не изменили заведенного порядка, хотя в этом уже не было смысла. Доктор Бонифас сказал, что мама умрет легкой смертью, она просто забудется и тихо угаснет. Но мама оставалась в ясном уме даже в самые последние минуты своей жизни, когда дети, собравшиеся у ее постели, уже не могли скрыть того, что они чувствуют.

— Как вы были добры ко мне, — сказала мама. — Сколько сил вы потратили, чтобы я не страдала…

Дядя Роке сидел рядом с ней и тихонько, похлопывая ее по руке, упрашивал не говорить глупостей. Пепа и Роса делали вид, что ищут что-то в комоде. Они уже знали, что Мария Лаура была права, они знали то, что так или иначе знали с самого начала.

— Так заботились обо мне… — сказала мама.

И Роса стиснула руку Пепы, потому что эти четыре слова вполне могли вернуть все на прежнее место и восстановить ход столь долгой и необходимой игры. Но Карлос смотрел на маму так, словно чувствовал, что она вот-вот скажет самое важное.

— Теперь вы отдохнете… Больше мы не будем вас мучить…

Дядя Роке хотел было возразить маме, найти какие-то подходящие слова, но Карлос с силой сжал его плечо. Мама погружалась в забытье, и не к чему было ее тревожить.

На третий день после похорон пришло последнее письмо от Алехандро, в котором он очень интересовался здоровьем мамы и тети Клелии. Роса по привычке открыла это письмо, но так и не сумела прочесть его до конца. Внезапные слезы застлали ей глаза, и только тут она спохватилась, что, пока читала строку за строкой, ее мучила неотступная мысль о том, как они напишут Алехандро о смерти мамы.

Воссоединение[3]

Я вспомнил старый рассказ Джека Лондона[4], в котором герой, прислонившись к дереву, готовится достойно встретить смерть.

Эрнесто Че Гевара[5],
«Горы и равнина», Гавана, 1961

Все было хуже некуда, но по крайней мере мы избавились от проклятой яхты, от блевотины, качки и раскрошившихся волглых галет, от пулеметов, молчавших в присутствии наших до омерзения заросших щетиною лиц, когда утеху мы черпали лишь в крохах чудом неподмокшего

---

[3] Примечания: 3

Созданная в 1964 году, новелла Кортасара «Воссоединение» повествует об одном из эпизодов Кубинской революции — высадке 2 декабря 1956 года с яхты «Гранма» отряда повстанцев во главе с Фиделем Кастро на южное побережье Кубы. Эта высадка стала новым этапом в ходе революции, который завершился победой два года спустя — 1 января 1959 года.

Хулио Кортасар неоднократно бывал на Кубе и неоднократно писал о ней. Подобно многим современным писателям Латинской Америки (среди них — лауреаты Нобелевской премии Неруда и Гарсиа Маркес), Кортасар приветствовал победу сторонников Фиделя в их борьбе с диктатурой Батисты. Он верил, что Кубинская революция открывает в истории Латинской Америке новую страницу: создание общества, в котором не будет эксплуатации человека человеком, — и воспринимал события на Кубе как нечто имеющее к нему непосредственное отношение. Вот цитата из открытого письма Кортасара кубинскому поэту

Роберто Фернандесу Ретамару (май 1967 года): «Победа Кубинской революции, первые годы революционного правительства означали для меня уже не только удовлетворение в чисто историко-политическом плане; внезапно я испытал другое чувство. Я понял — вот достойное человека дело… Не вдаваясь в рассуждения, не анализируя, я вдруг испытал потрясающее чувство, поняв, что переворот в моем восприятии совпадает с моим возвратом к Латинской Америке, что эта социалистическая революция, ход которой мне удалось увидеть вблизи, была именно латиноамериканской… Я уже подошел к той точке, где сходились и сливались моя убежденность в социалистическом будущем общества и мое личное эмоциональное возвращение к Латинской Америке, из которой я, не оглядываясь, уехал много лет назад».

[4] Примечания: 4

…рассказ Джека Лондона… — Вероятно, речь идет о рассказе «Дом Мапуи» (сборник «Сказки южных морей»).

[5] Примечания: 5

Че Гевара Эрнесто (1928 — 1967) — латиноамериканский революционер, один из руководителей Кубинской революции. Родился в Аргентине. По профессии врач. С Фиделем Кастро познакомился в 1955 г. в Мексике; принял участие в экспедиции «Гранмы». В 1959 — 1961 гг. — президент национального банка Кубы, в 1961 — 1965 — министр промышленности. В апреле 1965 г. покинул Кубу; пытался организовать повстанческое движение в Боливии, погиб в бою. Личность Че Гевары, которого Кортасар называл хронопом, привлекала внимание писателя на протяжении многих лет; главные причины этому, видимо, таковы: Эрнесто Че Гевара был аргентинцем и литературно одаренным человеком. По мотивам его книги «Эпизоды революционной войны» и написан Кортасаром рассказ «Воссоединение».

табака — Луису[6] (чье настоящее имя вовсе не Луис, но мы дали клятву забыть, как нас зовут, пока не наступит решающий день), так вот, Луису пришла в голову блестящая мысль хранить табак в жестянке из-под консервов; мы открывали ее так осторожно, будто она кишела скорпионами. Но какой там к лешему табак или даже глоток рома в чертовой посудине, что моталась пять дней, словно пьяная черепаха, остервенело сопротивляясь трепавшему ее норду, туда-сюда по волнам. Мы до мяса ободрали себе руки ведрами, вычерпывая воду, меня донимала астма[7] — дьявол бы ее подрал, — и половина из нас корчилась от приступов рвоты, словно их резали пополам. У Луиса во вторую ночь даже пошла какая-то зеленая желчь, а он себе знай смеется, и тут еще из-за норда мы потеряли из виду маяк на Кабо Крус[8] беда, какой никто не предвидел. Называть это «операцией по высадке» было все равно что еще и еще извергать желчь, только от злости.

---

[6] Примечания: 6

Луис — Фидель Кастро (р. 1926).

[7] Примечания: 7

…меня донимала астма… — У прототипа кортасаровского рассказа, Че Гевары, была астма в тяжелой форме.

[8] Примечания: 8

Кабо Крус — мыс на юго-западной оконечности Кубы, в провинции Орьенте (на побережье этой провинции и высадился отряд Фиделя).

Зато какое же счастье покинуть шаткую палубу, что бы ни ждало нас на суше — мы знали, что нас ждет, а потому не слишком волновались, — и, как на грех, в самую неподходящую минуту над головой жужжит самолет-разведчик — что ему сделаешь? Топаешь себе по трясине или что там под ногами, увязнув по грудь, обходя илистые выпасы и мангровые заросли[9], а я-то как последний идиот тащу пульверизатор с адреналином, чтобы астма не мешала идти вперед; Роберто нес мой «спрингфилд», стараясь облегчить мне путь по топи (если только это была топь — многим приходило в голову, что мы сбились с пути и вместо твердой земли пришвартовались к какой-нибудь отмели милях в двадцати от нашего острова…), и вот так на душе паршиво, только паршивыми словами и ругаться; все смешалось, и мы испытывали и неизъяснимую радость, и бешенство из-за передряги, которую устраивали нам самолеты; и что еще ждет нас на шоссе, если мы когда-нибудь туда дойдем, если мы действительно на прибрежной трясине, а не кружим как ошалелые по глинистому бугру, потерпев полное

[9] Примечания: 9

Мангровые заросли (мангровы) — невысокие тропические леса, растущие в приливно-отливной полосе низменных морских побережий.

поражение — к ехидному злорадству Павиана[10] в гаванском дворце.

Никто уже не помнит, сколько все это продолжалось, мы измеряли время прогалинами в зарослях высокой травы, участками, где нас могли расстрелять с бреющего полета; отдаленный вопль слева от меня испустил, должно быть, Роке (его я могу назвать подлинным именем — жалкий скелет среди лиан и жаб), но дело было в том, что от всех наших планов осталась лишь конечная цель добраться до гор и воссоединиться с Луисом, если и ему удастся прибыть туда; остальное распалось в прах от норда, высадки наудачу, болот. Но будем справедливы, хоть одно получилось по плану — атаки вражеской авиации. Их предусмотрели и вызвали, и они не заставили себя ждать. И хотя мое лицо еще морщилось от боли из-за выкрика Роке, привычка относиться ко всему с иронией помогала мне смеяться (астма душила меня еще пуще, и Роберто нес мой «спрингфилд», чтобы я мог носом вдыхать адреналин, носом — почти у края жижи, заглатывая больше тины, нежели лекарства);

---

[10] Примечания: 10

Павиан — здесь: Рубен Фульхенсио Батиста-и-Сальдивар (1901–1973), президент Кубы в 1940–1944 и в 1954–1958 гг. Свергнут 1 января 1959 года в результате победы Кубинской революции; умер в эмиграции.

ведь если самолеты атакуют нас здесь, значит, мы не перепутали место высадки, в наихудшем случае мы отклонились на несколько миль, но за выпасами обязательно откроется шоссе, а за ним — равнина во всю ширь и первая гряда холмов на севере. Была известная пикантность в том, что неприятель с воздуха подтверждал правильный ход нашей операции.

Прошло Бог весть сколько времени, стемнело, и мы вшестером очутились под худосочными деревьями, впервые почти на сухой почве, жуя чуть влажный табак и раскисшие галеты. Никаких вестей о Луисе, Пабло[11], Лукасе; тоже где-то бредут, быть может, уже мертвы, во всяком случае — такие же неприкаянные и вымокшие до нитки, как мы. Но меня согревало особое чувство оттого, что с концом этого по-лягушачьи прожитого дня мысли вставали в строй, а стало быть, смерть, более близкая, чем когда-либо, не будет уже шальной пулей на болоте, но разыгранной по всем правилам и в совершенстве оркестрованной партией. Неприятель, должно быть, держал под контролем шоссе, оцепив трясину, ожидая, что мы появимся по двое или по трое,

---

[11] Примечания: 11
Пабло — Рауль Кастро (р. 1931), младший брат Фиделя.

измотанные голодом среди топи и населяющих ее тварей. Теперь все было видно как на ладони, и четыре стороны света будто лежали у меня в кармане; смех разбирал чувствовать себя таким живым и бодрым в преддверии эпилога. Я с особым удовольствием бесил Роберто, декламируя ему на ухо стихи старикана Панчо, а ему они казались очень плохими. «Хоть бы глину с себя счистить», — жаловался Лейтенант. «Или всласть покурить» (кто-то слева, не знаю кто, его растворила в себе заря). Организовали агонию: выставили часовых, спали по очереди, жевали табак, сосали разбухшие, как губка, галеты. Никто не заговаривал о Луисе — страх, что его убили, был хуже любого врага, ибо смерть Луиса сразила бы нас сильнее всякого преследования, нехватки оружия или рая на ногах. Я немного поспал, пока Роберто стоял на часах, но перед сном я подумал, что все наши действия в эти дни были слишком безумными, чтобы теперь вдруг допустить возможность убийства Луиса. Каким-то образом безумие должно продолжаться, дойти до конца — конец этот, может быть, окажется победой, и в нашей абсурдной игре, где даже оповещали врага о высадке, не было места для утраты Луиса. Я, кажется, подумал также, что, если мы

победим, если нам удастся соединиться с Луисом, тогда лишь начнется игра всерьез — искупление необузданного и опасного, но необходимого романтизма. Перед тем как я погрузился в сон, мне привиделся Луис — возле дерева, а мы все стояли вокруг; Луис медленно поднес руку к лицу, а потом снял свое лицо словно маску. С лицом в руке он подошел к своему брату Пабло, ко мне, к Лейтенанту, к Роке — протягивая его нам, прося надеть. Но все по очереди отказывались, и я тоже отказался, улыбаясь сквозь слезы, и тогда Луис снова приладил лицо на место, и я увидел на этом лице бесконечную усталость, а он пожал плечами и достал из кармана гуаяберы[12] сигару. С медицинской точки зрения все ясней ясного — галлюцинация на грани яви и сна, спровоцированная лихорадкой. Но если Луиса и впрямь убили во время высадки, то кто поднимется в горы с его лицом? Мы все попытаемся подняться туда, но никто — с лицом Луиса, никто, кто смог бы или захотел принять облик Луиса. «Диадо-

[12] Примечания: 12

Гуаябера — легкая куртка с короткими рукавами (одежда кубинских крестьян).

хи[13], подумал я в полусне. — Но с диадохами все полетело в тартарары, это известно».

Хотя то, о чем я рассказываю, случилось уже довольно давно, некоторые подробности так врезались мне в память и так живо стоят перед глазами, что говорить о них можно лишь в настоящем времени — будто все еще лежишь навзничь на пастбище, под деревом, защищающим тебя от открытого неба. Это третья ночь, но на рассвете сегодняшнего дня мы пересекли шоссе, невзирая на картечь и джипы. Теперь надо снова ждать рассвета, потому что нашего проводника убили и мы заблудились; надо найти крестьянина, который привел бы нас туда, где можно купить немного еды, — при слове «купить» я едва удерживаюсь от смеха, и астма снова меня душит, но и здесь, как и во всем другом, никому не придет в голову оказать неповиновение Луису — за еду надо платить, но сначала объяснить местным жителям, кто мы и зачем сюда нагрянули. Вы бы видели лицо Роберто — в заброшенной хижине на горном хребте, — как он сунул пять песо под тарелку в обмен на жалкую пищу, которая нам досталась и была вкусней манны небесной, вкусней

[13] Примечания: 13

Диадохи — преемники Александра Македонского, разделившие его империю между собой.

обеда в отеле «Ритц», если только там взаправду вкусно кормят. Меня так лихорадит, что приступ астмы проходит — нет худа без добра, — но я снова думаю о выражении лица Роберто, когда он оставлял пять песо в пустой хижине, и хохочу так, что снова задыхаюсь и проклинаю себя. Надо бы поспать, Тинти заступает на караул, ребята отдыхают, сбившись в кучу, я отошел подальше — мне сдается, что я беспокою их кашлем и хрипами в груди, а кроме того, я преступаю запрет: два-три раза за ночь мастерю из листьев экран, прикрываю им лицо и закуриваю сигару, чтобы хоть чуточку скрасить свою жизнь.

По сути, хорошим в этот день было лишь одно — неведение насчет Луиса; в остальном — дело дрянь: из восьмидесяти человек нас полегло по крайней мере пятьдесят или шестьдесят; Хавиер был убит одним из первых, Перуанцу вырвало глаз, и несчастный три часа боролся со смертью, а я ничем не мог помочь, даже прикончить его, когда отвернутся остальные. Весь день мы дрожали от страха, как бы какой-нибудь связной (к нам прокрались трое, под самым носом у неприятеля) не принес нам известие о смерти Луиса. В конце-то концов лучше ничего не знать, думать, что Луис жив, сохранять надежду. Я хладнокровно

взвесил все возможности и сделал вывод, что его убили; мы все его знаем, знаем, как этот сорвиголова способен, не хоронясь, выйти навстречу врагу с пистолетом в руке, а уж те, кто отстал, пусть поторопятся! Нет, ведь Лопес о нем позаботится, он как никто другой умеет уговорить Луиса, обмануть почти как ребенка, убедить, что надо подавить неразумный порыв и выполнять свой долг. Да, но если и Лопес… Ни к чему так взвинчивать себя, нет никаких оснований для подобных предположений, и к тому же — какой подарок судьбы этот покой, это блаженство лежать, запрокинув лицо к небу, словно все идет как по маслу, как задумано (я, дурак, чуть не подумал: «Завершилось!»), в точности по планам. Это все от лихорадки или от усталости, или же нас всех раздавят, как жаб, еще до восхода солнца. Но теперь надо пользоваться этой неправдоподобной передышкой, наслаждаться созерцанием рисунка, который вычерчивают ветви дерева на бледном небе с пригоршней звезд, поворачивать глаза вслед за прихотливым узором ветвей и листьев, следить за ритмом их встреч, соприкосновений и расставаний — а иной раз они мягко меняют положение, когда порывы бурного ветра с болота колышут кроны. Я думаю о моем

сынишке, но он далеко, за тысячи километров, в стране, где он сейчас еще спит в постели, и образ его кажется мне нереальным, он тает и теряется в листьях дерева, а взамен я с глубоким счастьем вспоминаю моцартовскую тему, которая всегда звучала у меня в душе: первая часть «Охотничьего квартета», переход улюлюканья загонщиков в нежные голоса скрипок, транспонировка дикого занятия в чистое духовное наслаждение. Я думаю о музыке, повторяю ее, мурлычу про себя и в то же время чувствую, как мелодия и узор древесной купы на небе сближаются, тянутся друг к другу, пока узор внезапно не становится зримой мелодией, ритмом, источаемым нижней веткой, почти над самой моей головой; а потом — кружево взмывает кверху и распускается, словно веер из живых побегов; а партия второй скрипки — это вон та хрупкая веточка, что накладывается на соседнюю, чтобы слить свою листву с какой-то точкой справа, у конца музыкальной фразы, и дать ей завершиться — пусть глаз скользнет вниз по стволу и можно будет, если хочешь, повторить мелодию. Но вся эта музыка в то же время наше восстание, то, что мы совершаем, хоть здесь вроде бы ни при чем ни Моцарт, ни природа; мы тоже на свой лад хотим транспонировать безобразную

войну в такой порядок вещей, который придаст ей смысл и оправданье, приведет в конечном счете к победе, и победа эта будет как бы торжеством мелодии — после стольких лет надсадно хриплого охотничьего рога; победа будет тем аллегро в финале, каким словно вспышкой света сменяется адажио. Ох, и веселился бы Луис, знай он, что я сейчас сравниваю его с музыкой Моцарта, вижу, как он мало-помалу упорядочивает эту нелепицу, возводит ее к первопричине, которая своей очевидностью сводит на нет все преходящие благоразумные рассуждения. Но какое же горькое, какое отчаянное дело дирижировать людьми поверх грязи и картечи, какая неблагодарная задача прясть нить такой песни — ведь мы ее считали неосуществимой. Песни, которая завяжет дружбу с кроной деревьев, с землей, возвращенной ее сынам. Да, это лихорадка. И как бы хохотал Луис, хоть и он любит Моцарта, это мне известно…

В конце концов я усну, но прежде доберусь до вопроса, сумеем ли мы в один прекрасный день перейти от музыкального отрывка, где все еще звучит улюлюканье охотников, к обретенной широте и полноте адажио, а потом — к ликующему аллегро финала, которое я напеваю под сурдинку. Окажемся ли мы в состоянии достичь

примирения с уцелевшими враждебными силами? Надо нам быть как Луис, не подражать ему, но быть как он, безоглядно отринуть ненависть и месть, смотреть на врага, как смотрит Луис — с непреклонным великодушием, приводившим мне столько раз на память (но разве такое кому-нибудь скажешь?) образ Вседержителя, судьи, который сначала ставит себя на место обвиняемого и свидетеля и, строго говоря, не судит, но просто отделяет твердь от хляби, дабы, в конце концов, когда-нибудь, родилась человеческая родина — в трепетном рассвете, на краю более чистого времени.

Но какое уж тут адажио, если с первыми проблесками зари на нас ринутся со всех сторон и надо будет отказаться от продвижения на северо-восток и пробираться по плохо разведанному району, тратя последние боеприпасы, пока Лейтенант — еще с одним товарищем — не зацепится за гребень горы и оттуда не укоротит им малость лапы и даст нам с Роберто время перенести раненного в бедро Тинти и поискать другую, более защищенную высоту, где можно продержаться до ночи. Они никогда не шли в атаку ночью, хотя у них были сигнальные ракеты и прожекторы; их словно охватывал страх, что превосходство в

оружии, которого они не берегли и не считали, теперь им не поможет, но до ночи еще был целый длинный день, и нас оставалось всего пятеро против этих храбрецов, травивших нас, чтобы ублажить Павиана, а тут еще самолеты то и дело пикировали на лесные прогалины, безжалостно уродуя пулеметными очередями рощи пальм.

Через полчаса Лейтенант прекратил огонь и присоединился к нам — мы едва волочили ноги. Никто и думать не мог бросить Тинти — нам слишком хорошо была известна участь пленных, мы думали, что здесь, на этом склоне, в этих зарослях колючего кустарника, мы расстреляем последние патроны. Любопытно было обнаружить, что регулярные войска, сбитые с толку промахом авиации, штурмовали высоту довольно далеко на восток от нас; и тогда мы, недолго думая, взобрались на гору по адски крутой тропе и через два часа вышли на почти голую вершину, где зоркий глаз одного нашего товарища высмотрел пещеру, спрятанную в высокой траве, и мы, отдуваясь, остановились, подумав о возможности вынужденного отступления прямо на север, со скалы на скалу опасный путь, но зато на север, к

Сьерра-Маэстре[14], куда, возможно, уже прибыл Луис.

Пока я оказывал помощь потерявшему сознание Тинти, Лейтенант мне сказал, что на рассвете, незадолго до атаки регулярных войск, он слышал пальбу из автоматов и пистолетов на западе от нас. Это мог быть Пабло со своими парнями, а пожалуй, что и сам Луис. Мы достоверно знали, что уцелевшие при высадке разделены на три группы и, возможно, группа Пабло не так уж далеко от нас. Лейтенант спросил, не стоит ли нам с наступлением темноты предпринять попытку пробиться к Пабло.

— Чего спрашиваешь, если сам уже решил лезть под пули? — ответил я.

Мы осторожно уложили Тинти на подстилку из сухой травы, в самой прохладной части пещеры, и курили отдыхая. Двое других товарищей стояли на часах у входа.

— Уж ты придумаешь, — сказал Лейтенант, весело поглядывая на меня. Для меня такие прогулочки одно удовольствие, дружище.

Так мы посидели немного, подбадривая шутка-

---

[14] Примечания: 14

Сьерра-Маэстра — крупнейшая горная цепь Кубы (вдоль юго-восточного побережья). В горах Сьерра-Маэстры формировалась Освободительная армия Фиделя.

ми Тинти — у бедняги начался бред, — и, когда Лейтенант уже собирался уходить, явился Роберто с каким-то горцем и четвертью туши жареного козленка. Мы глазам своим не верили и ели этого козленка так, будто он был бесплотным призраком; даже Тинти пожевал кусочек — через два часа он отдал его обратно вместе с жизнью. Горец принес весть о смерти Луиса; мы от этого не прервали завтрак, но, видит Бог, соли было слишком много для такой малости мяса… Сам крестьянин не видел, как убили Луиса, но старший сын его — также примкнувший к нам и вооруженный старым охотничьим ружьем — входил в отряд, который помогал Луису и еще пяти товарищам под шквалом картечи перейти вброд реку; парень утверждал, что Луиса ранило, когда он почти добрался до берега — добраться до ближайших кустов он не успел. Крестьяне поднялись в горы — которые знали как свои пять пальцев, — и с ними двое из отряда Луиса, они придут ночью, с оружием убитых и боеприпасами.

Лейтенант закурил еще сигару и вышел распорядиться насчет бивака, а также ближе познакомиться с новичками; я был около Тинти — он медленно отходил, почти без мук. Итак, Луиса нет в живых, козленок — пальчики оближешь, этой

ночью нас станет девять или десять, и боеприпасов хватит, чтобы продолжать борьбу. Эдакие вот новости. То было своего рода хладнокровное безумие, которое, с одной стороны, находило подкрепление, однако лишь для того, чтобы одним махом стереть всякое будущее, стереть разумное основание этого безрассудства, завершившегося вестью о смерти Луиса и привкусом жареного козленка во рту. Во мраке пещеры, медленно покуривая сигару, я ощутил, что не могу сию минуту позволить себе роскошь принять как должное смерть Луиса; я мог только оперировать этой вестью как фактом, неотъемлемым от плана боевых операций, ибо если и Пабло убит, то волей Луиса командующим стану я, и это было известно и Лейтенанту, и всем товарищам, так что мне ничего не останется, как принять командование и привести отряд в горы и продолжать драться, как будто ничего не случилось. Я закрыл глаза, и мое давешнее видение повторилось — на миг мне померещилось, будто Луис расстался со своим лицом и протягивает его мне, а я обеими руками отталкиваю его, защищая свое, и говорю: «Нет, Луис, пожалуйста, не надо», а когда я открыл глаза, Лейтенант уже вернулся и смотрел на тяжело дышавшего Тинти, и я услыхал от Лейтенанта,

что к нам только что примкнули два парня из леса, одна хорошая новость за другой, и жареные бататы[15], и походная аптечка (а регулярные-то на восточных отрогах пусть себе блуждают!), и в пятидесяти метрах от нас — изумительный горный источник. Но Лейтенант мне в глаза не глядел, угрюмо жевал сигару и, кажется, ждал, чтобы сказал что-нибудь я, чтобы я первый завел разговор о Луисе.

Потом — словно черный провал в памяти; кровь ушла из Тинти, а Тинти ушел от нас, горцы предложили его похоронить, а я остался в пещере, отдыхая, хотя тут нестерпимо воняло блевотиной и холодным потом; и забавно — я стал неотвязно думать о моем лучшем друге в те давние времена, еще до цезуры в моей жизни, которая оторвала меня от родины и швырнула за тысячу километров к Луису, к этой высадке на острове, к этой пещере. Приняв во внимание разницу во времени, я представил себе, как в эту минуту, в среду, мой друг входит в свой врачебный кабинет, вешает шляпу на вешалку, бегло просматривает почту. Это не была галлюцинация — я просто вспоминал те годы, что мы прожили

[15] Примечания: 15

Батат (сладкий картофель) — корнеклубневое растение семейства вьюнковых.

так близко друг от друга, разделяя вкусы в политике, женщинах и книгах, ежедневно встречаясь в больнице; каждый его жест, каждую гримасу я знал наизусть, и это были не только его жесты, его гримасы — они заключали в себе весь мой тогдашний мир: меня самого, мою жену, моего отца, пламенные передовицы моей газеты, мой полуденный кофе с дежурными коллегами и мое чтение, мои фильмы и мои идеалы. Я спросил себя, что обо всем этом подумал бы мой друг — о Луисе или обо мне, и на лице его как будто проступил ответ (да, но вот это уже лихорадка, надо принять хинин), на сытом, самодовольном лице, именно таком, какое приличествует опытному хирургу, уверенно держащему в руке скальпель, на лице, загрунтованном — как холст — отличной жизнью и превосходными книжными изданиями. Даже рот не надо открывать, чтобы сказать мне: «Я думаю, что твоя революция — просто…» В этом не было абсолютно никакой надобности, так и следует, эти люди не могли принять перемену, которая обнаруживала подлинную цену их дешевого милосердия в часы больничного приема, их регламентированной филантропии в складчину, их добродушия среди своих, их показного антирасизма в салонах, пока

кто-нибудь не соберется замуж за мулата… их католицизма при ежегодных солидных дивидендах и пышных праздниках на украшенных флагами площадях, их «розовой» литературы, их любви к фольклору в дорогих нумерованных изданиях и к мате из серебряной виролы[16], их собраний коленопреклоненных чинуш, их идиотского и неизбежного загнивания (хинину бы, хинину, и опять эта астма!). Бедный друг, мне так было его жаль — как остолоп защищает ложные ценности, которым придет конец на его веку или, в лучшем случае, на веку его детей: защищает феодальное право собственности и неограниченного богатства, когда у самого лишь врачебный кабинет да добротно обставленный дом; защищает церковь, когда буржуазный католицизм жены вынуждает его искать утешения в объятиях любовниц; защищает мнимую свободу личности, когда полиция оцепляет университеты, цензура душит печать, — и защищает все это из страха, из ужаса перед переменой, из скептицизма и недоверия — единственных живых божеств в его несчастной, пропащей стране! Вот о чем я думал, когда вбежал Лейтенант и крикнул, что Луис жив —

---

[16] Примечания: 16

Вирола — специальный сосуд с трубочкой для питья мате.

жив, черт бы его подрал, — что только что с ним установлена связь: он пришел в высокогорный район с пятьюдесятью гуахиро[17], они в низине захватили у попавшего в окружение батальона прорву оружия, и мы обнимались как ошалелые и говорили слова, за которые потом бывает стыдно до бешенства, но ведь и это, и жареный козленок, и продвижение вперед было единственным, что имело смысл и значение и становилось все важней, пока мы, не смея глядеть в глаза друг другу, прикуривали сигары от одной головешки, уставившись в нее и утирая слезы, которые — в соответствии с общеизвестными его слезоточивыми свойствами — выжимал из нас дым.

Осталось рассказать немного — на рассвете один из наших горцев отвел Лейтенанта и Роберто туда, где был Пабло еще с тремя товарищами, и Лейтенант вскарабкался к Пабло, упиравшемуся оземь ладонями — ноги у него были изранены на болоте. Нас стало уже двенадцать, я вспоминаю, как Пабло обнял меня — поспешно и стремительно, как он всегда это делал, и сказал, не вынимая сигареты изо рта: «Если Луис жив, мы еще можем победить», а я на совесть забинтовал ему ноги

---

[17] Примечания: 17
Гуахиро — на Кубе: синоним слова «крестьянин».

— парни потешались над ним, дескать, он надел новехонькие белые туфли, ох и задаст ему брат головомойку за эту роскошь не ко времени! «Пусть себе ругается, — отшучивался Пабло, яростно куря, — чтобы бранить, надо жить, товарищ, а ты ведь слышал, он жив-живехонек, мы как раз к нему лезем, и ты на славу забинтовал мне ноги…» Но радость была недолгой — как только взошло солнце, на нас и сверху и снизу обрушился град свинца, пуля отхватила мне пол-уха, а попади она на два сантиметра ближе, ты, сынок, если только читаешь это, так бы и не узнал, в какой переделке побывал твой старик… С кровью, болью и ужасом мир предстал перед мной, как в стереоскопе: каждый предмет и каждый образ — четко и выпукло, в цвете, который обозначал мою жажду жизни, а так все было нипочем — потуже завязать платок и лезть себе дальше в гору; но позади меня полегли два горца и ординарец Пабло — с лицом, развороченным осколком снаряда. В такие минуты случаются комические вещи, которые запоминаешь на всю жизнь: один толстяк тоже из группы Пабло, кажется, — в разгар сражения хотел спрятаться за тростинкой, да-да, встал боком и опустился на колени; а в особенности памятен мне тот трус, что завопил: «Надо сда-

ваться!», и голос, крикнувший меж двух очередей из «томпсона», голос Лейтенанта — бычий рев, перекрывший пальбу: «Здесь никто не сдается, так тебя и так!», пока самый младший из горцев, до сих пор такой молчаливый и застенчивый, не сообщил мне, что в ста метрах от нас, чуть левей и чуть повыше, есть тропа, и я крикнул это Лейтенанту и стал целиться вместе с горцами, а они шли следом и стреляли как дьяволы, принимая огневое крещение и так наслаждаясь им, что любо-дорого было глядеть, и наконец мы собрались у подножия сейбы[18], откуда брала начало тропинка, и мальчик горец стал карабкаться вверх, а мы за ним, астма не давала мне идти, и на шее крови было больше, чем из зарезанного поросенка, но зато была уверенность, что и в этот день мы уйдем от пули, и не знаю почему, но ясно было как аксиома, что в эту самую ночь мы воссоединимся с Луисом.

Поди пойми, как оставляешь в дураках преследователей — мало-помалу огонь редеет, слышны привычные ругательства и — «трусы, только бахвалятся, а в бой не идут», и вдруг — тишина, деревья снова живые и дружелюбные, неровно-

[18] Примечания: 18

Сейба (хлопковое дерево) — тропическое дерево семейства бомбаксовых (достигает высоты 50 метров). Родина сейбы — Южная Америка.

сти почвы, раненые, которых надо выхаживать, фляжка воды с чуточкой рома переходит из уст в уста, вздохи, иногда стон, и отдых, и сигара, идти вперед, карабкаться и карабкаться, хотя бы клочья моих легких полезли вон из ушей, а Пабло мне говорит, слушай, ты ведь мне сделал сорок второй номер обуви, а я ношу сорок третий, старина; и смех, и вершина хребта, маленькое ранчо, где у крестьянина было немного юкки[19] и мохо[20], и свежайшая вода, и Роберто, упрямый и добросовестный, совал крестьянину какие-то песо, чтобы заплатить за угощенье, а вся наша братия, начиная с хозяина ранчо, животы понадрывала от смеха, и полдень, и сиеста, от которой приходилось отказаться — словно мы отпускали от себя прелестную девушку и глядели на ее ноги, пока она не скроется из виду…

Когда стемнело, тропинка стала круче, и карабкаться было просто невозможно, но наше самолюбие утешалось тем, что Луис выбрал такое место для встречи — туда и лань не взобралась

---

[19] Примечания: 19

Юкка — корнеклубневое растение семейства молочайных, рода маниок.

[20] Примечания: 20

Мохо — напиток из тростниковой водки, сахарного песка, лимона и воды.

бы. «Как в церкви будем, — говорил рядом со мной Пабло, — у нас даже орган есть», и весело поглядывал на меня, а я, задыхаясь, напевал нечто вроде пассакалии[21], которая нравилась только ему одному. Я смутно вспоминаю эти часы; стемнело, когда мы добрались до последнего часового и промаршировали один за другим, называя пароль за себя и за горцев, и наконец вышли на поляну среди деревьев, где Луис стоял, прислонившись к дереву, — разумеется, в своей фуражке с немыслимо длинным козырьком и с сигарой во рту. Один Бог знает, чего мне стоило остаться позади, пропустить Пабло, чтобы он помчался обнять брата, а потом я выждал, чтобы и Лейтенант и остальные тоже стиснули его в объятиях, а после опустил наземь аптечку и «спрингфилд», и засунул руки в карманы, и впился в него взглядом, зная, что он сейчас повторит свою обычную шутку.

---

[21] Примечания: 21

Пассакалия — песня-танец испанского происхождения. Первоначально исполнялась на улице при отъезде гостей. В XVII веке получила распространение во многих странах Европы. Определяющие черты пассакалии: торжественно-траурный характер музыки, медленный темп, минорный лад.

— Как дела, гаучо[22], - сказал Луис.

— Идут, барбудо[23], - парировал я, и мы зашлись от хохота, и он прижался челюстью к моему лицу, от чего рана невыносимо заныла, но эту боль я счастлив был бы терпеть до конца своих дней.

— Так ты все-таки пришел, че[24].

Разумеется, «че» он произносил не так, как надо.

— А ты думал? — ответил я, подражая его косноязычию. И мы снова схватились за животы, как последние дураки, а все другие хохотали невесть отчего. К нам прибыли новости и вода, мы окружили Луиса и только тогда заметили, как он похудел и как лихорадочно блестят у него глаза за этими дерьмовыми стеклами.

Ниже нас по склону снова завязался бой, но

---

[22] Примечания: 22

Гаучо — скотовод в Аргентине. Скотоводы гаучо составляют в Латинской Америке особую этническую группу; их вольнолюбивый характер воспет в поэме аргентинского писателя Хосе Эрнандеса (1843–1886) «Мартин Фьерро» — одном из лучших произведений латиноамериканской литературы XIX века (в произведениях Кортасара эта поэма упоминается неоднократно).

[23] Примечания: 23

Барбудо (бородатый) — прозвище кубинских революционеров.

[24] Примечания: 24

Че — характерное аргентинское словечко: междометие и обращение к собеседнику. Словечко «че» стало прозвищем и даже частью фамилии Эрнесто Гевары.

мы в данный момент были вне досягаемости. Можно было заняться ранеными, искупаться в источнике, спать, прежде всего спать, даже Пабло завалился, он, который так хотел поговорить со своим братом. Но так как астма — моя любовница — научила меня славно проводить ночки, я остался близ Луиса, все так же стоявшего, опершись на ствол дерева; мы курили и любовались узором листьев на бледном небе и не торопясь рассказывали друг другу все, что случилось с нами после высадки, но главное — мы говорили о будущем, которое начнется в тот день, когда можно будет перейти от винтовки в кабинет с телефоном на столе, из гор — в город, и я вспомнил об охотничьем роге и чуть не сказал Луису, что я думал в ту ночь — только чтобы посмешить его. Но, подумав, я ничего ему не рассказал, а лишь чувствовал, что мы входим в адажио квартета, в непрочную полноту немногих часов, в непрочную, но вместе с тем дарующую уверенность незабываемый знак. Сколько охотничьих рогов еще наготове, сколько из нас еще сложат свои бренные останки, как Роке, как Тинти, как Перуанец. Но достаточно было взглянуть на крону дерева, чтобы ощутить, что воля снова упорядочивает хаос, навязывает ему краски адажио, которое когда-нибудь перейдет

в финальное аллегро, уступит место действительности, достойной этого имени… И пока Луис вводил меня в курс международных событий, сообщал, что происходит в столице и в провинциях, я видел, как листья и ветки мало-помалу сгибаются, уступая моему желанию, становятся моей мелодией, мелодией Луиса, а он продолжал говорить, не подозревая о том, что происходит в моем воображении, а потом в центр рисунка вписалась звезда маленькая, но такая голубая-голубая, и, хотя в астрономии я профан и не смог бы сказать точно, звезда это или планета, я был уверен, что это не Марс и не Меркурий — она так ослепительно блестела в центре адажио, в центре слов Луиса, что никто не мог бы спутать ее с Марсом или Меркурием.

Сеньорита Кора

We'll send your love to college, all for a year or two.
And then perhaps in time the boy will do for you[25]

(Английская народная песня)

Не пойму, почему не дают оставаться в клинике на ночь, в конце концов я — мать, и доктор де Луиси познакомил нас с директором.

Принесли бы кушетку, и я б у него ночевала, чтоб он попривык, а то, когда мы пришли, он был совсем бледный, словно сейчас на стол, это, наверное, от запаха, муж тоже нервничал, еле дождался, чтоб уйти, а я не сомневалась, что меня оставят у мальчика. Ему ведь только-только пятнадцать, да и тех не дашь, всегда он со мной, хотя теперь, в этих брюках, он храбрится, хочет быть повзрослее. Ужасно, должно быть, расстроился, когда понял, что я не останусь, но, к счастью, муж с ним болтал, помог надеть пижаму, уложил. А все эта девчонка, сиделка интересно, у них такое

---

[25] Примечания: 25
Мы в школу пошлем любовь твою всего на год-другой.
Глядишь, минует время, и мальчик будет твой (англ.).

правило, или она мне назло. Я ее так и спросила, прямо сказала, точно ли она знает, что мне остаться нельзя.

Сразу видно, что за девица, корчит из себя такую, видите ли, вамп, передник в обтяжку, вида никакого, а гонору — ну, просто главный врач! Ну что ж, я ей все сказала, мальчик просто не знал, куда деваться, муж делал вид, что не понимает, и, конечно, глядел на ее ножки. Одно хорошо: условия прекрасные, сразу видно, что клиника для приличных людей. У мальчика прелестный столик, есть куда положить эти журналы, и муж, слава богу, не забыл принести ему мятных леденцов. А все же завтра с утра поговорю с де Луиси, чтоб он поставил на место эту выскочку. Посмотрю-ка, хорошо ли она его укрыла, и вообще попрошу для верности еще одну сиделку. Укрыла, укрыла, спасибо хоть ушли, мама думает, я совсем сопляк, все надо мной трясется. Сиделка решит, что я и попросить ничего не могу, она на меня так посмотрела, когда мама ее пилила. Ну, не дали тут остаться, и ладно, делать нечего, я не маленький, могу и один поспать.

А кровать удобная, вечер, тихо, разве что лифт прожужжит где-то далеко, и я вспоминаю тот фильм, там тоже больница, и ночью открывается

дверь, понемножку-понемножку, и эта старуха, у нее паралич, видит мужчину в белой маске…

А сиделка ничего, симпатичная, она пришла в полседьмого, всякие бумажки принесла и стала меня спрашивать имя там, фамилию, возраст и все такое. Я журнал поскорее спрятал, пускай увидит, что я книги читаю, а не журналы с фотографиями, и она, конечно, заметила, но ничего не сказала, наверное, сердится еще на маму и думает, я тоже такой, буду распоряжаться. Спросила, как аппендикс, я сказал — ничего, ночью не болело. «А как там пульс», говорит, пощупала, что-то еще записала и повесила листок в ногах кровати. «Есть хочешь?» — говорит. Я, наверное, покраснел, я удивился, что она мне тыкает, очень она молодая и мне понравилась. Я сказал, что есть не хочу, и соврал, мне всегда в это время есть хочется. «На ужин очень мало получишь», — она говорит и, не успел я моргнуть, забрала мои конфеты. И ушла. Не знаю, сказал я ей что или нет, кажется — не успел.

Я очень рассердился, что она со мной, как с маленьким, могла хоть сказать «конфет нельзя», а то взяла, унесла… Конечно, она на маму взъелась, а на мне отыгрывается. Странное дело, как она ушла, я не мог больше злиться — хочу,

а не могу. Молодая какая, лет восемнадцать, ну девятнадцать, наверное, недавно тут, в больнице. Ну, пусть она принесет, и я ее спрошу, как ее звать, надо ж мне ее называть, если она при мне будет. Нет, другую прислали, добренькая такая, в синем платье, принесла бульон и сухарики и дала зеленых таблеток. Эта тоже спросила то и се, и как я себя чувствую, и сказала, тут спать хорошо, у меня чуть не лучшая палата, и точно — я почти до восьми проспал, а разбудила меня еще новая, маленькая, вся в морщинах, вроде обезьянки, очень ласковая, и сказала, чтоб я встал, умылся, только сперва дала градусник, чтоб я его поставил, как тут принято, а я сперва не понял, я всегда ставил под мышку, ну, она объяснила и ушла. Тут мама явилась, ах, слава богу, он в порядке, я думала — он глаз не сомкнет, бедный мальчик, что ж, все они такие, бьешься, бьешься, а он здесь спит преспокойно, и ему все равно, что я всю ночь не спала.

Доктор де Луиси пришел его посмотреть, а я вышла на минутку, он ведь большой, неудобно, и потом я хотела встретить вчерашнюю сиделку и поставить ее на место — молча, просто взглядом смерить, но в коридоре было пусто. Тут вышел доктор и сказал, что операция будет завтра утром

и мальчик в прекрасном состоянии, об опасности нет и речи, в его возрасте вырезать аппендикс — сущие пустяки. Я горячо поблагодарила и сказала кстати, что сиделка, на мой взгляд, не умеет себя вести, и я это говорю потому, что моему сыну необходимы внимание и уход. Потом я пошла к мальчику, чтоб с ним побыть, пока он читает журналы. Он знал, что операция завтра. Ну, чего она, бедняга, так смотрит, как будто завтра светопреставление, я ж не умру, мама, ну, пожалуйста. Нашему Качо тоже вырезали, а он через неделю играл в футбол. Ты иди, не волнуйся, мне совсем хорошо, все у меня есть. Да, мама, да, ну, сколько можно — битых десять минут: «тут болит?», «а тут не болит?», хорошо еще, дома моя сестрица ждет.

Ну, ушла, хоть дочитал этот комикс, который вчера начал.

Вчерашнюю сиделку зовут сеньорита Кора, я эту, обезьянью, спросил, когда она завтрак принесла. Дали мне мало, и опять зеленых таблеток и капель вроде мятных. Наверное, снотворные, у меня журнал из рук выпал, и сразу приснилось, что мы едем на пикник с девчонками из женской школы, как прошлый год, и танцуем на берегу, очень хорошо было. Проснулся в пятом часу и стал про операцию думать, я не боюсь, де Луиси

сказал — чепуха, только странно, наверное, под наркозом, тебя режут, а ты спишь. Качо говорит — хуже всего, когда проснешься, больно, и рвет, и жар большой. Сегодня маменькин сыночек сдал, по лицу видно, что трусит, а щуплый он прямо даже жаль. Я вошла, он сел, журнал сунул под подушку. Немножко было прохладно, я открыла отопление и принесла ему термометр. Спрашиваю: «Ставить умеешь?» — а он покраснел, чуть не лопнул. Кивнул и лег, а я пока что шторы опустила и лампу зажгла. Подхожу взять термометр, а мальчишка весь красный, я чуть не фыркнула, эти подросточки всегда так, трудно им привыкнуть. А главное, смотрит прямо в глаза, чтоб ее совсем, ну, что мне ее эти взгляды, она ведь просто баба, и все, смотрит и смотрит, когда я градусник вынул из-под одеяла и ей дал, и вроде улыбается, наверное, что я такой красный, никак не могу, краснею, хоть ты что.

Записала на листок, который в ногах, температуру и ушла, как пришла. Не помню, что мы с мамой и с папой говорили, они явились в шесть. И скоро ушли. Сеньорита Кора напомнила, что пора меня готовить и вообще эту ночь не нужно волновать. Я думал, мама себя покажет, нет, ничего, только посмотрела сверху вниз, и папа тоже, ну, я

старика знаю, он-то по-другому смотрит. Слышу, уже в дверях мама говорит: «Ухаживайте за ним получше, я забот не забываю, мальчик привык к ласке и вниманию», — и всякие такие глупости, я чуть не подох со злости, даже не слышал, что та ответила, а уж ей, конечно, не понравилось, еще подумает, я на нее наябедничал.

Потом она пришла, в полседьмого примерно, прикатила такой столик на колесиках, на нем бутылочка, вата, и я вдруг чего-то испугался, а вообще-то нет, просто стал все рассматривать, скляночки всякие, синие там, красные, бинты, щипчики, резиновые трубки.

Испугался, бедняга, без мамы, а мама-то чистый попугай, я забот не забываю, смотрите за мальчиком, я говорила с де Луиси, ну, ясное дело, сеньора, обхаживать будем, как принца. А он у вас хорошенький, особенно как покраснеет, только я войду. Когда я одеяло откинула, он как будто хотел опять укрыться. Заметил, кажется, что мне смешно, чего он так стесняется. «Давай, спусти штаны», — я говорю и смотрю прямо в лицо. «Штаны?» — повторяет и стал узелок развязывать, с пуговицами возиться, а расстегнуть не может. Спустила я с него штаны, почти до колен, ну, все там у него, как я и думала. «Ты парень

взрослый», — говорю и кисть намыливаю, хоть, по правде, брить почти и нечего. Мылю ему там, а сама говорю:

«Как тебя дома зовут?» — «Пабло», — отвечает, очень жалобно, просто не может со стыда. «Ну, а как-нибудь поласковей?» — я говорю, и еще хуже вышло, он чуть не заплакал, пока я ему три волосинки брила. «Значит, никак не зовут?» Ясное дело, просто «сыночек». Побрила его, он тут же укрылся чуть не с головой. «Пабло — имя красивое», — я говорю, захотелось его поуспокоить. Прямо жалость брала, что он так стесняется, первый раз мне попался такой смирный мальчишка, а все ж и противный он какой-то, наверное, в мать, что-то такое вроде взрослое, неприятное, и вообще чересчур он красивый, ладный для своих лет, сопляк еще, а воображает, еще приставать начнет.

Я закрыл глаза, чтоб от этого спрятаться, и все зря, она тут же спросила: «Значит, никак не зовут?» — и я чуть не умер, чуть ее не задушил, а когда открыл глаза, увидел прямо перед собой ее каштановые волосы, она наклонилась, мыло вытирала, и от них пахло миндальным шампунем, как у нашей по рисованию, или еще там чем, и я не знал, что сказать, только одно в

голову пришло: «Вас Кора зовут, правда?» Она так ехидно посмотрела, она ведь меня насквозь знала, всего видела и говорит: «Сеньорита Кора». Нарочно сказала, мне назло, как тогда: «Ты совсем взрослый», издевается. Терпеть не могу, когда краснею, это хуже всего, а все же я сказал: «Да? Вы такая молоденькая… Что ж. Кора — красивое имя». Вообще-то я не то хотел сказать, и она поняла, проняло ее, теперь я точно знаю — она из-за мамы злится, а я хотел сказать, что она молодая и я бы хотел звать ее просто Кора, да как тут скажешь, когда она злится и катит свой столик, уходит, а я чуть не плачу, вот у меня еще одно — не могу, горло перехватит, перед глазами мигает, а как раз надо бы все прямо сказать. Она у дверей остановилась — как будто хотела посмотреть, не забыла ли чего, и я думал все сказать, а слов не нашел, только ткнул в тазик, где пена, сел на кровати, прокашлялся и говорю: «Вы тазик забыли», — важно, будто взрослый. Я вернулась, взяла тазик и, чтоб он не так убивался, погладила его по щеке: «Не горюй, Паблито. Все будет хорошо, операция пустяковая». Когда я его тронула, он голову отдернул, обиделся, а потом залез под одеяло до самого носа. И говорит оттуда еле слышно: «Можно, я буду вас звать Кора?» Очень я

добрая, чуть жаль не стало, что он так стесняется и еще хочет отомстить мне, только я ведь знаю: уступи потом с ним не управишься, больного надо держать в руках, а то опять что-нибудь сплетет Мария Луиса из четырнадцатой, или доктор наорет, у него на это нюх собачий. «Сеньорита Кора», — говорю, взяла тазик и ушла. Я очень рассердился, чуть ее не ударил, чуть не вскочил, ее не вытолкал, чуть… Не знаю, как мне удалось сказать: «Был бы я здоров, вы бы не так со мной говорили». Она притворилась, что не слышит, даже не обернулась, ушла, я остался один, даже читать не хотелось, ничего я не хотел, лучше бы она рассердилась, я бы просил прощения, я ведь ей не то хотел сказать, но у меня так сжалось в горле, сам не знаю, как я слово выдавил, я просто разозлился, я не то сказал, надо бы хоть как-то по-другому.

Всегда они так — с ними ласково, скажешь по-хорошему, а тут он себя и покажет, забудет, что еще сопляк. Марсьялю рассказать, посмеется, а завтра на операции он его совсем распотешит, такой нежненький, бедняга, щечки горят, ах ты черт, краснею и краснею, ну что мне делать, может — вдыхать поглубже, раньше чем заговоришь?

Наверное, очень рассердилась, она, конечно, расслышала, сам не знаю, как и сказал, кажется, когда я про Кору спросил, она не сердилась, ей полагается так отвечать, а сама она — ничего, не сердилась, ведь она подошла и погладила меня по щеке. Нет, она сперва погладила, а я тогда спросил, и все пошло прахом. Теперь еще хуже, чем раньше, я не засну, хоть все таблетки съешь. Живот иногда болит, странно — проведешь там рукой, а все гладко, а самое плохое — сразу вспомнишь и миндальный запах, и ее голос; голос у нее важный, взрослый, как у певицы какой-нибудь, она сердится, а будто ласкает. Когда я услышал шаги в коридоре, я лег совсем и закрыл глаза, не хотел ее видеть, зачем мне ее видеть, чего она лезет, я чувствовал, что она вошла и зажгла верхний свет. Он притворился, что спит, как убитый, закрыл рукой лицо и глаз не открыл, пока я не стала у кровати. Увидел, что я принесла, и жутко покраснел, я чуть его опять не пожалела, и немножко мне было смешно, вот дурак, честное слово. «Ну-ка, спускай штаны и ложись на бочок», — он чуть ногами не затопал, наверное — топал на мамочку свою лет в пять, вот-вот заплачет: «Не буду!» — под одеяло залезет, заверещит, но теперь ему так нельзя, он

посмотрел на клизму, на меня, — а я стою, жду, — повернулся, руками возит под одеялом, ничего как будто не понимает, пока я кружку вешала, пришлось самой одеяло откинуть и опять сказать про штаны и чтоб он зад приподнял, мне легче снимать эти штаны и подложить полотенце. «Ну-ка, ножки приподними, вот, хорошо, еще больше на бок, больше повернись, говорю, вот так». Он лежит тихо-тихо, а как будто кричит, мне и смешно — у моего поклонничка зад голый, и жаль немножко, словно я ему это назло за то, что он тогда спросил. «Скажи, если горячо», — я говорю, а он молчит, кулак, наверное, кусает, я не хотела видеть его лицо и села на кровать, жду, когда он заговорит, воды было очень много, но он все вытерпел, молчал, а потом я ему сказала, чтобы старое загладить: «Вот теперь молодец, совсем как взрослый», — укрыла его и попросила, чтоб подольше терпел, не шел туда. «Свет потушить или оставить?» — это я уже в дверях. Сам не знаю, как и сказал, что мне все равно, и услышал, что она запирает дверь, и укрылся с головой, что мне делать, живот резало, я руки кусал и плакал. Никто не поймет, ну, никто, как я сильно плакал и ругал ее, обижал, втыкал ей нож в сердце пять раз, десять раз, двадцать, и ругал ее, и радовался,

что ей больно и она меня умоляет, чтоб я ее за все простил.

Обычное дело, друг Суарес, — разрежешь, посмотришь и нарвешься на что-нибудь такое. Конечно, в эти годы шансов немало, а все ж скажи отцу, а то потом не расхлебать. Верней всего, он выберется, но что-то тут не так ну хотя бы возьмем то, что было, когда наркоз давали, и не поверишь, такой младенец. Я часа в два к нему ходил, он — ничего, ведь сколько времени оперировали. Когда вошел де Луиси, я ему рот вытирал, бедняге, его все рвало, наркоз еще не отошел, но доктор все равно его выслушал и попросил меня сидеть с ним, пока совсем не проснется. Старики — в соседней палате, сразу видно, мамаша к такому не привыкла, всю дурь вышибло, а папаша совсем скис. Ну, Паблито, ты не удерживай, если тошнит, и стонать не стесняйся, я тут, да тут я, с тобой, спит, бедняга, а в руку мне вцепился, как будто задыхается. Наверное, думает, что это — мама, они все так, просто надоело. Ну, Пабло, не дергайся, больней будет, нет, руками не вози, там трогать нельзя. Трудно ему, бедняге, просыпаться. Марсьяль говорил, очень долго резали. Чего-то там нашли, или аппендикс не сразу раскопали, это бывает, спрошу сегодня Марсьяля.

Да здесь я, миленький, здесь, ты не стесняйся стонать, а руками не двигай, вот у меня лед в бинтике, я тебе губы смочу, а то ведь пить хочется. Да, миленький, можно, если тошнит, давай, легче будет. Ну и руки у тебя, я буду вся в синяках, поплачь, пореви, если хочется, пореви, Пабло, легче будет, реви и кряхти, чего там, а ты еще не проснулся и думаешь — это мама. Знаешь, ты такой хорошенький, носик немножко курносый, ресницы длинные, сам бледный-бледный, ты от этого старше кажешься. Не будешь краснеть из-за всякой чепухи, правда, миленький? Ой, мама, больно, дай я это сниму, они мне что-то на живот положили, очень тяжело, больно, мама, скажи сестричке, чтоб сняла. Сейчас, сейчас пройдет, полежи тихонько, ну и сильный ты, прямо хоть зови на помощь Марию Луису. Ну, Пабло, я рассержусь, лежи тихо, больней ведь будет, если тихо не лежишь.

Кажется, узнал меня… Болит, сеньорита Кора, вот тут, очень больно, помогите мне, пожалуйста, очень болит, не держите меня за руки, больше не могу, сеньорита Кора, не могу.

Хорошо хоть, он заснул, бедняжка, сиделка пришла в третьем часу и разрешила с ним побыть, ему лучше, но вот он бледный, много крови поте-

рял, хорошо хоть, доктор говорит, что все прошло прекрасно. Сиделка устала с ним бороться, не знаю, почему меня раньше не позвали, очень строго в этой клинике. Уже темнеет, мальчик все время спал, сразу видно — огромная слабость, но лицо как будто лучше, чуть розовее. Еще стонет иногда, но бинты не трогает и дышит ровно, наверное, ночь пройдет неплохо. Ох, знала же я — да что поделаешь? Только страх с нее соскочил, сразу за свое, распоряжаться: позаботьтесь, моя милая, чтоб у мальчика было абсолютно все. Жаль мне тебя, старую дуру. Видела я таких, думают — сунут потом на чай, и все в порядке. И дадут всего ничего, да ладно, нашла над чем голову ломать. Марсьяль, погоди, видишь, — он заснул, расскажи-ка мне, что там утром было. Ладно, устал — не надо, потом расскажешь. Что ты, Мария Луиса войдет, не здесь, да ну тебя. Вот пристал, сказано — иди. Уходи, сказано, а то рассержусь. Дурак ты, чучело. Да, милый, до свидания. Ну, ясное дело. Очень.

Темно как, но это лучше, все равно глаза открывать не хочется.

Почти не болит, хорошо — лежишь, дышишь спокойно, не рвет. Тихо-тихо, да, я ведь маму видел, она что-то сказала, не помню, очень бы-

ло плохо. Старика почти не разглядел, он стоял в ногах и подмигивал, вечно он одно, бедняга. Немножко холодно, еще б чем укрыться.

Сеньорита Кора, можно чем-нибудь укрыться? Да, она тут сидела, я сразу увидел, читала журнал у окна. Сразу подошла, укрыла, все поняла, хоть и не говори. А, помню, я ее путал с мамой, а она меня успокаивала, или это было во сне? Сеньорита Кора, я спал? Вы мне руки держали, да? Я порол чепуху, это я от боли, и тошнило…

Простите меня, пожалуйста. Трудная у вас работа. Вот вы смеетесь, а я вас перепачкал, я знаю. Ладно, не буду. Мне так хорошо, не холодно. Нет, не сильно, чуть-чуть. Поздно сейчас, сеньорита Кора?

Да вы помолчите, я вам говорила — много болтать нельзя, радуйтесь, что не больно, и лежите себе. Нет, не поздно, часов семь. Закройте глаза и поспите. Вот так.

Я бы и сам хотел, да не могу. Вот-вот засну — и вдруг как дернет рана или в голове завертится. Открываю глаза, смотрю, она — у окна, абажур приспособила, чтобы свет мне не мешал. Почему она все тут и тут? Какие волосы у нее, и блестят, когда головой шевельнет.

Молодая, а я ее с мамой спутал, вот чепуха. Ну и

наплел я ей, наверное, а она надо мной смеялась… Нет, она водила мне льдинкой по губам, сразу становилось легче, я вспомнил, и смачивала лоб одеколоном, и голову, и руки держала, чтоб я не сорвал бинты. Она уже не сердится, может — мама извинилась или что, она совсем иначе смотрела, когда сказала мне: «Поспите». Хорошо, когда она так смотрит, прямо не верится, что тогда она сердилась и унесла конфеты.

Я б хотел ей сказать, что она красивая и я на нее не обиделся. Наоборот, я бы хотел, чтобы ночью была она, а не та, маленькая. Опять смочила бы лоб одеколоном. И попросила бы прощенья и разрешила Корой называть.

Спал он довольно долго, а к восьми я прикинула, что де Луиси скоро придет, и разбудила его, чтобы градусник поставить. Он был вроде получше. Сон на пользу пошел. Увидел градусник, высунул руку, а я сказала, чтоб тихо, не двигался. Я не хотела на него глядеть, чтоб он не мучился, но он все равно покраснел, говорит: «Я сам». Я, конечно, не послушала, но он очень натужился, пришлось сказать:

«Пабло, ты большой, что ж, так и будем каждый раз?» Ну вот, ослабел, и опять слезы. Я как будто и не вижу, температуру записала, пошла

готовить укол. Когда она вернулась, я уже вытер глаза пододеяльником и так на себя злился, все бы отдал, чтоб заговорить, ей сказать, что мне все равно, чепуха, а ничего не могу поделать. «Это не больно, — она говорит и шприц держит. — Это чтоб ты хорошо поспал». Откинула одеяло, я опять покраснел. Она улыбнулась немножко и протерла на бедре ваткой. «Да, не больно», говорю, надо же что-нибудь сказать, а то она смотрит. «Ну вот, — и вынула иголку, и опять протерла ваткой. — Видишь, ничего. Все будет хорошо, Паблито». Укрыла меня и погладила по щеке. Я закрыл глаза, я б лучше умер, умер бы, а она бы гладила меня вот так и плакала.

Никогда я ее не понимал как следует, но на этот раз совсем от рук отбилась. Вообще-то мне все равно, зачем их, женщин, понимать, лишь бы любили. Нервы, всякие штуки — ладно, киска, поцелуй меня, и дело с концом. Да, зеленая еще, не скоро оботрется на этой чертовой работе, сегодня еле живая пришла, полчаса выбивал из нее дурь. Не умеет себя поставить с больными, вот хотя бы та старуха из двадцать второй, я уже думал — она с тех пор научилась, а теперь этот сопляк ее доводит. Мы пили чай у меня часа в два, она вышла сделать укол, возвращается — сама не своя, меня

и знать не хочет. Вообще-то ей идет, когда она сердится, дуется, я ее понемножку расшевелил, засмеялась наконец, стала рассказывать, люблю ее ночью раздевать, она чуть-чуть дрожит, будто зябнет. Поздно очень, Марсьяль. Я еще капельку побуду, другой укол в полшестого, эта не придет до шести.

Ты меня прости, дурочку, ну что мне этот сопляк, он теперь как шелковый, а все ж иногда жалко, они такие глупые, важные, если б можно — я бы попросила Суареса, чтоб он меня перевел, на втором этаже тоже двое, оба взрослые, их спросишь, как стул, подсунешь судно, подмоешь, если надо, поговоришь про погоду, про политику, все по-людски, как у людей, Марсьяль, понимаешь, не то что здесь.

Да, конечно, ко всему надо привыкать, сколько я буду убиваться из-за этих сопляков, навык нужен, как там у вас говорится. Ну, конечно, милый, конечно. Это все мамаша, понимаешь, сразу так повернула, не поладили мы с ней, а он гордый, и больно ему, особенно поначалу — он не знал, что к чему, а я хотела градусник поставить, и он на меня так посмотрел, как ты, ну, как мужчина. Я его теперь не могу спросить, надо ли ему по-маленькому, он всю ночь продержался б, если бы я

там сидела. Прямо смешно — хотел сказать «да», а не мог, мне надоело, и я велела делать лежа, на спине. Он глаза закрывает, это еще хуже, вот-вот заплачет или обругает меня, и ни того, ни другого не может, маленький он, Марсьяль, а эта дура его забаловала, мальчик, мальчик, одет, как большой, по моде, а все — деточка, мамино золотце. И еще, как на грех, меня к нему приставили, как ты говоришь — электрошок, лучше бы Марию Луису, вроде его мамаши, они б его мыли, брили, а ему хоть что. Да, не везет мне, Марсьяль.

Мне снился французский урок, когда зажглась лампа, я всякий раз сперва вижу ее волосы, наверное, потому, что она наклоняется сюда, как-то даже мне рот защекотало, и пахнет хорошо, и она чуть-чуть улыбается, когда протирает ваткой, она долго терла, потом колола, а я смотрел на ее руку, она так уверенно нажимала, эта желтая жидкость шла и шла, больно мне было. «Нет, не больно». Никогда не сумею сказать: «Не больно. Кора». И «сеньорита» не скажу никогда. Вообще буду мало говорить, а «сеньорита» не скажу, хоть бы просила на коленях. Нет, не болит. Нет, спасибо, мне лучше. Я посплю. Спасибо.

Слава богу, опять порозовел, но еще очень слабенький, еле-еле меня поцеловал, а на тетю Эстер

и не смотрел, хоть она и принесла журналы и подарила чудесный галстук, он его дома ждет. Утром сиделка, прекрасная, вежливая, приятно поговорить, сказала, что мальчик проснулся к восьми и выпил молока, кажется, начнут его кормить, надо предупредить Суареса, что он не выносит какао, ах нет, отец уже сказал, они ведь беседовали. Если вам не трудно, сеньора, выйдите на минутку, мы посмотрим, как наш больной. Вы останьтесь, сеньор Моран, это женщин может испугать такая куча бинтов. Ну, посмотрим, мой друг. Здесь больно? Так, иначе и быть не может. А тут вот — больно или просто чувствительно? Ну что ж, все в порядке, дружок. Целых пять минут — болит, не болит, чувствительно, а старик уставился, словно видит мое пузо первый раз. Странное дело, не по себе мне, пока они тут, они убиваются, бедняги, и говорят все не то, особенно мама, хорошо хоть, эта глуховата, ей все нипочем, вроде ждет чаевых. И еще про какао наплели, что я, маленький? Проспал бы пять суток подряд, никого бы не видел, Кору первую, а попрощался б перед самой выпиской. Надо подождать, сеньор Моран, доктор де Луиси говорил вам, что операция была сложней, чем думали, бывают неожиданности. Конечно, такой прекрасный

мальчик с этим справится, но вы предупредите сеньору Моран, что неделей не обойдется. А, ну, конечно, конечно, поговорите с директором, это вопрос хозяйственный. Нет, смотри, как не везет, Марсьяль, говорила я вчера — не везет, и вот, его тут долго продержат. Да знаю, что неважно, а все же мог бы и понять, сам видишь, как я с ним развлекаюсь, да и он со мной, бедняга. Не смотри так на меня, что ж — нельзя его и пожалеть? Не смотри на меня!

Никто мне читать не запрещал, а журналы сами падают, хотя мне две главки осталось, ну, и тетины еще все. Лицо горит, жар, наверное, или тут жара, попрошу, чтоб приоткрыли окно или сняли второе одеяло. Вот бы заснуть, хорошо бы, она бы тут сидела, читала, а я бы спал и не знал, что она здесь, только теперь она не останется, на поправку пошло, я ночью один. С трех до четырех я вроде поспал, а в пять она принесла новое лекарство, капли какие-то горькие. Всегда она как будто из ванны, как будто сейчас нарядилась, свежая такая, пахнет пудрой, лавандой. «Оно противное», — говорит и улыбается, чтоб меня подбодрить. «Да ничего, горчит немножко», — я отвечаю.

Она градусник ставит и спрашивает: «Как сего-

дня жизнь?» Я говорю хорошо, поспал немного, доктор Суарес доволен, и болит не особенно. «Что ж, тогда поработай», — и дает мне градусник. Я не знал, что отвечать, а она закрыла занавески и прибрала на столике, пока я мерил. Даже успел посмотреть, пока она градусник не взяла. «У меня же огромная температура», — он говорит, испугался. Не могу, так и помру дурой — чтоб его не мучить, дала градусник, а он, ясное дело, смотрит и видит, какой жар. «Первые четыре дня всегда так, и вообще нечего тебе смотреть», — я говорю, очень на себя рассердилась. Спросила, не двигал ли ногами, он говорит — нет. Лицо у него вспотело, я вытерла и немножко смочила одеколоном; он глаза закрыл, раньше чем мне ответить, и не открыл, пока я его причесывала, чтоб волосы не мешали. Да, 39,9 — температура высокая.

«Ты поспи», — говорю, а сама думаю, когда же можно сказать Санчесу. Он лежит, глаза закрыл, двинул так сердито рукой и говорит:

«Вы меня обижаете, Кора». Я не знала, что ответить, и стояла возле него, пока он глаза не открыл, а глаза температурные, печальные.

Сама не знаю, чего я руку потянула, хотела его погладить по лбу, он руку толкнул, дернулся и прямо покривился от боли. Я ответить не успела,

а он говорит так тихо: «Вы бы со мной по-другому обращались, если бы мы встретились не здесь». Я чуть не прыснула, очень уж смешно, говорит, а глаза мокрые, ну, я, конечно, рассердилась, даже вроде испугалась, как будто я ничего не могу против такого задаваки. Справилась с собой (спасибо Марсьялю, это он меня научил, я все лучше и лучше справляюсь), разогнулась, как ничего и не было, повесила полотенце, закрыла одеколон. Что ж, теперь хоть знаем, что к чему, так оно и лучше. Я — сиделка, он больной, и ладно. Пусть его мамаша одеколоном вытирает, у меня дела другие, буду их делать безо всяких. Не знаю, чего я там торчала. Марсьяль потом сказал, что я хотела дать ему возможность извиниться, попросить прощения. Не знаю, может, и так, а скорей, я хотела посмотреть, до чего ж он дойдет. А он лежит, глаза закрыты, все лицо мокрое. Как будто меня положили в кипяток, и пятна какие-то плавают, красные, лиловые, я веки покрепче сжимаю, чтоб ее не видеть, знаю, что она не ушла, и все бы отдал, только б она опять наклонилась, вытерла лоб, будто я ничего не говорил, но этого уже быть не может, она уйдет, ничего не сделает, не скажет, а я открою глаза, увижу ночь, столик, пустую палату, еще немножко будет пахнуть лавандой, и

я повторю раз десять, раз сто, что я это правильно сказал, пусть знает, я ей не мальчишка, и чего она лезет, зачем она ушла.

Всегда они начинают в седьмом часу, наверное, живут под карнизом, он воркует, она отвечает, и даже вроде поют, я сказал маленькой сиделке, которая меня умывает, завтрак носит, а она пожала плечами и говорит, многие жалуются, но директор не хочет, чтоб прогоняли голубей. Сам не помню, сколько я их слушаю, первые дни я спал и очень мне было плохо, а эти три дня слушаю и очень горюю, домой хочется, там лает Милорд и тетя Эстер встает к ранней обедне. А температура эта чертова не падает, не знаю, сколько продержат, надо сегодня Суареса спросить, в конце концов чем дома хуже? Вот что, сеньор Моран, я не хочу вас обманывать, картина тяжелая. Нет, сеньорита Кора, я считаю, что вам следует остаться с ним, и вот почему… Ну что ж это, Марсьяль… Иди, я тебе кофе сварю, покрепче. Да, зеленая ты еще. Слушай, старушка, говорил я с Суаресом. Парень твой, кажется:

Перестали наконец, везет им, голубям, — летают, где хотят, над всем городом. Утро тянется, тянется, я было обрадовался, когда ушли старики, их теперь часто пускают, потому что у меня боль-

шой жар. Ну ладно, полежу дней пять, чего уж. Дома лучше, конечно, но так и так — температура, и хуже все время становится. Странно, журнал не могу почитать, совсем нету сил, будто крови нет. А все этот жар, вчера говорил де Луиси, а утром Суарес — все жар, ну, им виднее. Сплю и сплю, а время не идет, вечно третий час, будто мне важно, три часа или пять. Наоборот, мне в три часа хуже, маленькая сменяется, а с ней так хорошо. Вот бы проспать до самой ночи. Пабло, это я, сеньорита Кора, твоя вечерняя сестра, которая уколами мучает. Знаю, что уколов не боишься, это я в шутку. Спи, если хочешь. Вот и все. Сказал «спасибо», глаза не открыв, а мог бы и открыть, с этой он болтал в двенадцать, хоть ему и запретили много разговаривать. В дверях я быстро обернулась — глядит, все время глядел в спину. Я пошла к нему, села, пульс проверила, расправила белье, он пододеяльник помял, теребит от жара. Он глядел на мои волосы, а посмотришь в глаза — отводит взгляд. Я пошла, все взяла, стала его готовить, а он лежит, не мешает, как будто меня и нет. За ним должны были прийти ровно в полшестого, еще мог поспать. Родители ждали внизу, он бы разволновался, если б они явились. Доктор Суарес сказал, что придет пораньше, объяснит

ему, что надо кое-что подрезать, поуспокоит. Но пришел почему-то Марсьяль, я очень удивилась, входит, показывает мне, чтоб не двигалась, читает листок, стоит в ногах, пока Пабло к нему не привыкнет. Потом начал как бы со смехом, уж онто умеет, на улице холод, в палате — благодать, а Пабло смотрит, молчит, вроде ждет, а мне как-то странно стало, лучше б Марсьяль ушел, оставил с ним, я бы объяснила хорошо, нет, наверное — нет. Я и сам знаю, доктор, меня снова будут резать, это вы мне давали наркоз, я рад, что ж так лежать с температурой. Я знал, что-нибудь да сделают, очень болит со вчерашнего дня, по-другому, глубоко. А вы там не стройте рожи, не улыбайтесь, как будто хотите меня в кино пригласить. Идите, целуйтесь с ним в коридоре, не так уж я крепко спал, когда вы на него рассердились, зачем он здесь лезет. Оба уходите, дайте поспать, во сне хоть не так болит.

Ну вот, молодой человек, сейчас мы с этим покончим раз и навсегда, сколько можно место занимать. Считай, помедленней, раз, два, три. Хорошо, считай, считай, через неделю будешь есть бифштекс. Да, старина, покопались четверть часа и зашили. Да, хорошенький был вид у де Луиси, к такому ведь не привыкаешь.

Слушай, я уломал Суареса, тебя переведут, я сказал — ты совсем измоталась, очень больной тяжелый. Поговори еще сама, переведут на второй. Дело твое, как хочешь, сама ныла, ныла, а теперь, видите ли, какая милосердная. Не сердись, для тебя же старался, да, я знаю, только — зря, я останусь сегодня с ним и все время с ним буду. Он стал просыпаться в полдевятого, родители сразу ушли, ему нельзя было видеть, какие у них лица, у бедных, пришел Суарес, тихо меня спросил, сменить или нет, а я покачала головой — нет, остаюсь.

Мария Луиса немножко побыла, мы его держали, успокаивали, потом он вдруг затих, и его почти перестало рвать. Очень он слабый, заснул, даже не стонал, спал до десяти. Опять эти голуби, мама, они каждое утро так, что ж их не прогонят, полетели б на другое дерево. Мама, дай мне руку, очень знобит. А, это я спал, мне приснилось, что утро и голуби. Простите меня, пожалуйста, я думал — это мама.

Снова он глаза отводил, отворачивался, себе во вред, все смотрел на меня. Я ухаживала за ним, словно и не знала, что он сердится, села, смочила ему губы льдом. Вытерла одеколоном лоб и руки, тогда он посмотрел, а я наклонилась, улыбнулась

и сказала: «Зови меня Корой. Да, поначалу мы не ладили, но мы с тобой подружимся, Пабло». Он смотрел и молчал. «Ну, скажи мне — хорошо, Кора». Он все смотрел, потом говорит: «Сеньорита Кора», — и закрыл глаза. Я сказала: «Нет, Пабло, нет», — и поцеловала его в щеку, у самых губ. «Я для тебя — Кора, только для тебя». Мне пришлось отдернуться, а все равно лицо забрызгал. Я утерлась, подержала ему голову, он вытер губы, я его опять поцеловала и приговаривала на ухо. Он сказал «простите» очень тоненько. «Не смог удержаться». Я сказала, чтоб не дурил, для того я с ним и сижу, пускай его рвет, сколько угодно, легче будет. «Я бы хотел, чтоб мама пришла», — он говорит и смотрит куда-то, а глаза пустые. Я его погладила по голове, простыни расправила, все ждала, что он заговорит, но он ушел далеко, и я поняла, что со мной ему еще хуже. В дверях я обернулась, подождала. Он смотрел в потолок, глаза были совсем открытые. Я сказала: «Паблито. Пожалуйста, миленький. Пожалуйста!» Вернулась, наклонилась его поцеловать, от него пахло холодом, одеколоном, рвотой, анестезией. Еще бы немножко — я б заплакала тут, перед ним, по нему. Я еще раз его поцеловала и побежала за матерью и за Марией Луисой. Я не хотела туда

идти при матери, и потом, до утра, да я и знала, что идти незачем, — Марсьяль и Мария Луиса все сделают, освободят палату.

Остров в полдень

Впервые Марини увидел остров, когда, склонившись над креслами левого борта, прилаживал пластмассовый столик, чтобы поставить на него поднос с завтраком. Пассажирка, одна из бесчисленных путешествующих американок, уже не раз поглядывала на него, пока он разносил журналы и виски. Неспешно устанавливая столик, Марини привычно и равнодушно прикидывал, стоит ли ответить на ее настойчивый взгляд, как вдруг в голубой овал иллюминатора вплыло побережье острова, золотистая лента пляжа, холмы, переходящие в унылое плоскогорье. Поправив накренившийся бокал с пивом, Марини улыбнулся пассажирке. «Греческие острова», — сказал он.

— «Oh, yes, Greece»[26], - с привычным интересом ответила американка.

Послышался короткий звонок, стюард выпрямился и, все с той же профессиональной улыбкой на тонких губах, перешел к чете сирийцев, пожелавших томатного сока. В хвосте самолета он на несколько секунд оторвался от своих обя-

---

[26] Примечания: 26
Ах да, Греция (англ.).

занностей и еще раз взглянул вниз. Остров был маленький, затерявшийся в ярко-синем Эгейском море, окаймленный ослепительно-белой, как бы окаменевшей полосой, которая там, внизу, наверняка была пеной разбивающихся о скалы и рифы волн. Марини заметил, что пустынные пляжи шли на север и запад, остальное побережье занимали обрывающиеся в море скалы. Скалистый и безлюдный остров. Впрочем, свинцовое пятно у северного пляжа могло быть убогим домишком, и даже не одним. Он принялся открывать банку с соком, а когда выпрямился, остров исчез из иллюминатора, осталось только море, нескончаемый зеленый горизонт. Почему-то он взглянул на часы; был ровно полдень.

Марини обрадовался назначению на линию Рим — Тегеран.

Полеты здесь были не такими унылыми, как на северных линиях, девушки всегда казались счастливыми от путешествия на Восток или от знакомства с Италией. Спустя четыре дня, успокаивая малыша, который потерял ложечку и в полном отчаянии показывал ему на нетронутый десерт, он снова обнаружил край острова. Правда, было восемь минут разницы во времени, но, когда он взглянул в хвостовой иллюминатор, у

него не осталось никакого сомнения. Спутать форму этого острова было невозможно: он походил на черепаху, чуть высунувшую из воды лапы. Марини смотрел до тех пор, пока его не позвали. Теперь он знал наверняка, что свинцовое пятно было группой домишек. Ему удалось разглядеть несколько возделанных участков, подступавших к самому пляжу. Во время остановки в Бейруте он взял у своей напарницы атлас и определил по нему, что этот остров скорее всего Хорос. Радиотелеграфист, ко всему безразличный француз, удивился его любопытству. «Все эти острова на одно лицо. Я уже два года на этой линии, и мне до них нет никакого дела. Да, в следующий раз покажите мне его».

Это был не Хорос, а Ксирос, один из многих островов, которые пока оставались в стороне от туристских маршрутов. «Он не продержится и пяти лет, — заявила ему стюардесса в Риме, когда они сидели за рюмкой. — Если думаешь туда поехать, поспеши. Орды туристов могут нагрянуть в любой момент — Дженджис Кук не дремлет». Но Марини по-прежнему лишь мечтал об острове, разглядывал его, если вовремя о нем вспоминал или оказывался рядом с иллюминатором, и почти всегда под конец пожимал

плечами. Все это не имело никакого смысла. Три раза в неделю пролетать в полдень над Ксиросом было так же нереально, как три раза в неделю грезить, что пролетаешь в полдень над Ксиросом. Все стало неправдоподобным в этом бессмысленном повторяющемся видении, все, кроме, пожалуй, желания повторить его снова: взгляд на ручные часы перед полуднем, короткое жгучее ощущение при виде ослепительно-белой каймы на темно-синем, почти черном фоне, при виде домов, где рыбаки, наверное, и глаз не поднимут, чтобы проследить за полетом этой другой нереальности.

Восемь-девять недель спустя, когда ему предложили работу на нью-йоркской линии со всеми ее преимуществами, Марини сказал себе, что это подходящий момент, чтобы покончить со своей невинной, но неотвязной манией. В кармане у него лежала книга, где какой-то географ с левантийским именем давал о Ксиросе больше сведений, чем обычно содержится в путеводителях. Слыша свой голос как бы издалека, он ответил отказом и, не дожидаясь, когда шеф и две его секретарши придут в себя от изумления, отправился обедать в буфет компании, где его ждала Карла. Недоумение и разочарование Кар-

лы его не смутили. Южный берег Ксироса был необитаем, но на западном остались следы еще лидийской или, быть может, критомикенской колонии, и профессор Гольдманн нашел приспособленные рыбаками под опоры небольшого мола две каменные плиты с высеченными на них письменами. У Карлы разболелась голова, и она вскоре ушла. Осьминоги были основным источником существования горстки жителей. Каждые пять дней приходило судно, чтобы забрать улов и оставить кое-какую провизию и утварь. В бюро путешествий ему сказали, что на Риносе нужно нанять специальное судно. Может быть, его возьмут на фелюгу, забирающую осьминогов, но об этом Марини сможет узнать только уже на Риносе, так как там бюро не имело своего агентства. Так или иначе, мысль провести на острове несколько дней была всего лишь наметкой на июньский отпуск. А пока ему предстояло несколько недель замещать Уайта на тунисской линии, потом началась забастовка, и Карла вернулась в Палермо, к своим сестрам. Марини перебрался в гостиницу неподалеку от Пьяцца Навона, где расположены букинистические лавки. От нечего делать он разыскивал в них книги о Греции. Иногда он перелистывал раз-

говорник. Ему понравилось слово «kalimera»[27]. Однажды в кабаре он сказал его рыжеволосой девушке, переспал с ней, узнал, что на Одосе у нее есть дедушка и почему-то болит горло. В Риме начались дожди. В Бейруте его всегда ждала Таниа. Были другие истории, вечные разговоры о родственниках и болезнях. Однажды снова был рейс на Тегеран, опять возник остров в полдень. Марини долго не отходил от иллюминатора, и новая стюардесса даже упрекнула его, что он совсем ей не помогает, и подсчитала, сколько раз она подавала завтрак вместо него. Вечером Марини пригласил стюардессу поужинать в Фируз, и ему не составило большого труда добиться прощения за утренний случай. Лючия посоветовала ему постричься по-американски, он ей рассказывал о Ксиросе, но потом понял, что она предпочитает хилтоновскую водку с лимоном. Так проходило время. Среди бесчисленных подносов с едой, сопровождаемых улыбкой, на которую имеют право все пассажиры.

Во время обратных рейсов самолет пролетал Ксирос в восемь утра, солнце било прямо в иллюминаторы с левой стороны, и было почти

---

[27] Примечания: 27
Добрый день (греч.)

невозможно разглядеть золотистую черепаху Марини предпочитал ждать полудня во время рейса на Тегеран. Тогда, он знал, можно будет долго стоять у иллюминатора, меж тем как Лючия (а потом Фелиса), подтрунивая над ним, одна делает всю работу. Однажды он сфотографировал Ксирос, но снимок получился слишком расплывчатым. Он уже кое-что знал об острове, в нескольких книгах подчеркнул те немногие строки, в которых о нем упоминалось.

Фелиса рассказала, что пилоты прозвали его «помешанным на острове», но это его не обидело. Карла только что написала ему, что решила не оставлять ребенка, Марини послал ей две зарплаты и подумал, что теперь денег на отпуск не хватит. Карла приняла деньги и через подругу сообщила, что, вероятно, выйдет замуж за дантиста из Тревизо. Все это не имело никакого значения в полдень по понедельникам, четвергам и субботам (а два раза в месяц и по воскресеньям).

Со временем Марини убедился, что единственным человеком, немного его понимавшим, была Фелиса. Между ними существовал молчаливый уговор, что в полдень, как только он пристраивается у хвостового иллюминатора, пассажиров обслуживает она. Остров показывался всего на

несколько минут, но воздух всегда был так чист и море с такой беспощадной четкостью очерчивало остров, что все новые мельчайшие детали неумолимо наслаивались на воспоминания от прошлых полетов: зеленое пятно выступа на севере, свинцовосерые дома, просыхающие на песке сети. Когда сетей не было, Марини чувствовал себя обкраденным, почти оскорбленным. Он было подумал заснять остров во время полета на кинопленку, чтобы в гостинице увидеть его снова, но потом решил не покупать кинокамеру и сэкономить эти деньги, так как до отпуска оставался только месяц.

Он не вел точного счета дням. Была Таниа в Бейруте, Фелиса в Тегеране, почти всегда — его младший брат в Риме, все это было немного смутно, приятно легко и мило, оно как бы заменяло то, другое, заполняя часы до или после полета, и во время полета все тоже было зыбко, и легко, и глупо вплоть до того момента, когда нужно было проникнуть к хвостовому иллюминатору, чувствуя холод стекла как стенку аквариума, где в густо-синем медленно проплывала золотистая черепаха.

В этот день сети четко вырисовывались на песке, и Марини мог бы поклясться, что черная точка

слева, у кромки моря, — это рыбак, который, наверное, смотрел вслед самолету. «Kalimera», — ни с того ни с сего подумал он. Не было смысла ждать еще. Марио Меролис одолжит ему недостающие для поездки деньги, и меньше чем через три дня он будет на Ксиросе. Прижавшись к стеклу губами, он улыбнулся, представив себе, как станет взбираться на зеленое пятно мыса, нагишом купаться в северных бухточках, как вместе с рыбаками будет ловить осьминогов, объясняясь при помощи жестов и улыбок.

Если решиться, ничто не покажется таким уж трудным. Ночной поезд, сначала один пароходик, потом другой, старый и грязный, пересадка на Риносе, нескончаемый торг с капитаном фелюги, ночь на мостике, под самыми звездами, вкус аниса и баранины, рассвет среди островов.

Он сошел на берег с первыми лучами солнца, и капитан представил его старику, видимо, местному старейшине. Клайос взял его за левую руку и, глядя прямо в глаза, медленно заговорил. Подошли двое парней, и Марини понял, что это дети Клайоса. Капитан фелюги выкладывал все свои запасы английских слов: двадцать жителей, осьминоги, ловля рыбы, пять домов, итальянский гость заплатит за комнату Клайосу. Когда Клайос

заспорил о цене, парни рассмеялись, и Марини тоже, он уже был их приятелем. Солнце вставало над менее темным, чем казалось с воздуха, морем, комната была бедная и чистая, кувшин с водой, запах шалфея и дубленой кожи.

Его оставили одного, ушли грузить фелюгу, Марини сбросил с себя одежду, надел купальные трусы и сандалии и отправился бродить по острову. Еще никого не было видно, солнце медленно набирало силу. От травы исходил тонкий кисловатый запах, смешанный с приносимым ветром запахом йода. Было, наверное, около десяти, когда он добрался до северного выступа и узнал самую большую бухту. Он с удовольствием искупался бы у песчаного пляжа, но Марини предпочитал оставаться здесь один. Остров завладел всем его существом, счастье переполняло его, и он не мог ни думать, ни выбирать. Солнце и ветер обожгли тело, когда он разделся и бросился со скалы в море. Вода приятно холодила кожу, он отдался на волю коварных течений, отнесших его к гроту, вернулся в открытое море, лег на спину и замер. Он принял все в едином акте согласия, которое было еще одним названием будущего. Он твердо знал теперь, что не покинет остров, что так или иначе навсегда останется здесь. Ему удалось на

мгновение представить себе лица своего брата и Фелисы, когда они узнают, что он остался жить на одинокой скале и промышлять рыбной ловлей. Но в следующий миг, перевернувшись, чтобы плыть к берегу, он уже забыл о них.

Солнце тут же обсушило его, и он пошел к домам. Завидев его, две пораженные женщины бросились бежать и заперлись дома. Он отвесил поклон пустоте и спустился к сетям. Один из сыновей Клайоса поджидал его на пляже, и Марини жестом пригласил его искупаться. Парень заколебался, указывая на полотняные брюки и красную рубаху, но потом сбегал в один из домов и вернулся почти нагишом. Вместе они бросились в море, теплое и сверкающее под лучами солнца, стоявшего уже почти в зените.

Обсушиваясь на песке, Ионас принялся объяснять, как что называется. «Kalimera», — сказал Марини, и парень захохотал, схватившись за живот. Потом Марини повторял новые фразы, научил Ионаса нескольким итальянским словам. Фелюга была уже почти у самого горизонта и становилась все меньше и меньше. Марини почувствовал, что теперь, с Клайосом и его близкими, на острове он был действительно один. Пройдет несколько дней, он заплатит за комнату,

научится ловить рыбу, однажды вечером, когда они уже хорошенько его узнают, он им скажет о своем намерении остаться работать вместе с ними. Он встал, протянул руку Ионасу и неторопливо направился к холму. Поднимаясь по крутому склону, он часто останавливался передохнуть, оборачивался, чтобы еще раз увидеть раскинутые на песке сети, силуэты женщин, Ионаса и Клайоса. Они оживленно разговаривали, смеясь и искоса поглядывая на него.

Добравшись до зеленого пятна, он вошел в мир, где запах тмина и шалфея, солнечный жар и морской бриз были единой материей.

Марини взглянул на часы, но тут же с раздражением сорвал их с запястья и сунул в карман купальных трусов. Не так-то просто уничтожить в себе прежнего человека, но тут, наверху, под напором солнца и простора, он почувствовал, что это возможно. Он был на Ксиросе. Он столько раз сомневался, что сможет сюда добраться. Он повалился на камни, спиной ощущая их острые грани и раскаленные бока, и уперся взглядом в небо. Издали донеслось гудение мотора.

Закрыв глаза, Марини сказал себе, что не взглянет на самолет, не даст заразить себя худшим, что в нем есть, и что еще раз пролетит над островом.

Но в полумраке век он представил себе Фелису с подносом, Фелису, разносящую завтрак в этот самый момент, и заменяющего его стюарда, может, это Джордже, а может, кто-нибудь еще с другой линии, кто-нибудь, кто сейчас, наверное, улыбается так же, как он, подавая вино или кофе. Не в силах более бороться с прошлым, он открыл глаза и встал на ноги и в тот же миг почти над головой увидел необъяснимо кренящееся правое крыло самолета. Изменение звука турбин, почти отвесное падение в море. Он бросился бежать с холма что было мочи, ушибаясь о камни, раздирая о колючки руки. Холм скрывал от него место падения. Не добежав до пляжа, он свернул и помчался напрямик через бугор и выскочил на пляж поменьше. Хвост самолета среди полной тишины исчезал под водой метрах в ста от берега. Марини с разбегу кинулся в воду. Он надеялся, что самолет вынырнет и будет еще на плаву, но уже не было видно ничего, кроме слабых волн да картонной коробки, бессмысленно покачивающейся на месте падения, и уже почти под конец, когда не имело смысла плыть дальше, из воды на мгновение показалась рука, но этого оказалось достаточно, чтобы Марини изменил направление, нырнул и схватил за волосы человека,

который отчаянно пытался ухватиться за него.

Марини тянул человека, с хрипом глотавшего воздух, стараясь держаться от него подальше, и мало-помалу добрался до берега. Он поднял на руки одетое во все белое тело, отнес от воды, положил на песок и взглянул в лицо, залепленное пеной. Смерть уже накрыла его своей тенью. Из огромной раны на шее хлестала кровь. Какой был толк в искусственном дыхании, если от каждого движения рана, казалось, раскрывалась все шире и походила на отвратительный рот, который звал Марини, выхватывал его из маленького, столь недолгого счастья жизни на острове, кричал ему, булькая, что-то, чего он уже не мог понять. Во весь дух бежали дети Клайоса, за ними женщины.

Когда подошел Клайос, парни стояли вокруг распростертого на песке тела, недоумевая, как это ему хватило сил доплыть до острова и, истекая кровью, добраться сюда. «Закрой ему глаза», — проговорила сквозь рыдания одна из женщин. Клайос обвел взглядом море в надежде отыскать кого-нибудь еще из уцелевших. Но никого не было видно, как всегда, они были на острове одни, и только безжизненное тело с открытыми глазами распростерлось у их ног.

Инструкции для Джона Хауэлла

Питеру Бруку

Думая об этом позже — на улице, в поезде, на загородной прогулке, — можно было бы счесть все это абсурдом, но театр и есть пакт с абсурдом, действенное и роскошно обставленное проведение абсурда в жизнь. Раису, который, томясь от скуки в осеннем Лондоне, в конце недели забрел на Олдвич и вошел в театр, почти не глянув в программу, первый акт пьесы показался весьма посредственным; абсурд начался в антракте, когда человек в сером костюме подошел к его креслу и вежливо, чуть слышным голосом пригласил его проследовать за кулисы. Не особенно удивившись, Райс подумал, что, наверное, дирекция театра проводит какую-нибудь анкету, какой-нибудь расплывчатый опрос зрителей с рекламными целями. «Если вы интересуетесь моим мнением, — сказал Райс, — то первый акт показался мне слабым, а, к примеру, освещение…» Человек в сером костюме любезно кивнул, но его рука продолжала указывать на боковой выход, и Райс понял, что должен встать и идти

с ним, не заставляя себя упрашивать. «Я предпочел бы чашку чаю», — подумал он, спускаясь по ступеням в боковой коридор, полурассеянно, полураздраженно. И вдруг неожиданно очутился перед декорацией, изображавшей библиотеку в доме средней руки; двое мужчин, стоявших со скучающим видом, поздоровались с ним так, словно его появление было предусмотрено и даже неизбежно. «Конечно же, вы подходите как нельзя лучше, — сказал тот, кто был повыше. Второй наклонил голову — он выглядел немым. — Времени у нас немного, но я попытаюсь объяснить вашу роль в двух словах». Он говорил автоматически, как будто исполнял надоевшую обязанность. «Не понимаю», — сказал Раис, делая шаг назад. «Так даже лучше, — сказал высокий. — В подобных случаях анализ до какой-то степени мешает; вот посмотрите, едва только вы привыкнете к софитам, это даже покажется вам забавным. Вы уже знакомы с первым актом; явно он вам не понравился. Никому не нравится. Теперь же пьеса может стать интереснее. Но, конечно, это зависит от вас». «Надеюсь, что она станет интереснее, — сказал Райс, думая, что ослышался. — Однако в любом случае мне пора возвращаться в зал». Он сделал еще шаг

назад и не особенно удивился, наткнувшись на человека в сером костюме, который ненапористо преграждал ему путь, бормоча тихие извинения. «Кажется, мы не поняли друг друга, — сказал высокий, — и это жаль, потому что до начала второго акта остается меньше четырех минут. Прошу вас выслушать меня внимательно. Вы — Хауэлл, муж Эвы. Вы уже видели, что Эва обманывает Хауэлла с Майклом и что Хауэлл, вероятно, понял это, хотя предпочитает молчать по еще неясным причинам. Не шевелитесь, пожалуйста, это всего лишь парик». Но предупреждение было, собственно, излишним, потому что человек в сером костюме и немой крепко держали его под руки, а высокая и худая девушка, внезапно оказавшаяся рядом, надевала ему на голову что-то теплое. «Вы же не хотите, чтобы я поднял крик и устроил скандал в театре», — сказал Райс, пытаясь унять дрожь в голосе. Высокий пожал плечами. «Вы этого не сделаете, — устало сказал он. — Это будет так неэлегантно… Нет, я уверен, что вы так не поступите. А потом, парик очень вам идет, у вас тип рыжеволосого». Зная, что ему не следует этого говорить, Райс сказал: «Но я же не актер». Все, включая девушку, подбадривающе улыбнулись. «Вот именно, — сказал высокий. — Вы прекрасно

понимаете, в чем тут разница. Вы не актер, вы Хауэлл. Когда вы выйдете на сцену, Эва будет сидеть в гостиной и писать письмо Майклу. Вы сделаете вид, будто не заметили, как она прячет листок и пытается скрыть замешательство. С этого момента делайте все что хотите. Очки, Рут». «Все что хочу?»- переспросил Райс, украдкой пытаясь высвободить руки, в то время как Рут надевала ему очки в черепаховой оправе. «Да, именно так», — неохотно сказал высокий, и у Раиса мелькнуло подозрение, что тому надоело повторять одно и то же из вечера в вечер. Раздался звонок, созывающий публику, и Райс краем глаза уловил движения рабочих по сцене, изменения в свете; Рут разом исчезла. Его охватило негодование, скорее горькое, чем подстегивающее к действию; но почему-то оно все равно казалось неуместным. «Это глупый фарс, — сказал он, пытаясь освободиться, — и я предупреждаю вас, что...» «Мне очень жаль, — пробормотал высокий. — Честно говоря, я думал о вас иначе. Но раз вы относитесь к этому так...» В его словах не было прямой угрозы, но трое мужчин сгрудились вокруг, и надо было или подчиниться, или вступить в открытую борьбу, а Райс почувствовал, что и одно и другое в равной степени нелепо

или неверно. «Выход Хауэлла, — сказал высокий, указывая на узкий проход между кулисами. — На сцене делайте все что хотите, но нам будет жаль, если придется... — Он говорил любезным тоном, не нарушая воцарившейся в зале тишины; занавес поднялся, бархатисто шурша, и их обдало теплым воздухом. — Я бы на вашем месте, однако, призадумался, — устало добавил высокий. — Ну, идите». Не толкая, но мягко двигая вперед, они проводили его до середины кулис. Раиса ослепил сиреневый луч; перед ним лежало пространство, казавшееся бесконечным, а слева угадывался большой провал, где как будто сдержанно дышал великан, — там в сущности-то и был настоящий мир, и глаз постепенно начинал различать белые манишки и то ли шляпы, то ли высокие прически. Он сделал шаг-другой, чувствуя, что ноги у него не слушаются, и был уже готов повернуться и бегом броситься назад, но тут Эва, торопливо встав со стула, пошла ему навстречу и плавно протянула руку, казавшуюся в сиреневом свете очень белой и длинной. Рука была ледяная, и Раису почудилось, что она слегка царапнула его ладонь. Подчинившись ей, он дал себя увести на середину сцены, смутно выслушал объяснения Эвы — она говорила о головной боли, о том, что

ей захотелось побыть в полумраке и тишине библиотеки, — ожидая паузы, чтобы выйти на просцениум и в двух словах сказать зрителям, что их надувают. Но Эва как будто ждала, что он сядет на диван столь же сомнительного вкуса, как сюжет пьесы и декорации, и Райс понял, что смешно, что просто невозможно оставаться на ногах в то время, как она, снова протянув ему руку, с усталой улыбкой опять пригласила его присесть. Сидя на диване, он явственно различал первые ряды партера, едва отделенные от сцены полосой света, который из сиреневого становился желтовато-оранжевым, но странно, Раису было легче повернуться к Эве и встретить ее взгляд, каким-то образом соединявший его с этой бессмыслицей, и отложить еще на миг единственно возможное решение — если не поддаться безумию, не покориться этому притворству. «Какие долгие вечера этой осенью», — сказала Эва, отыскивая среди книг и бумаг на низком столике коробку из белого металла и предлагая ему сигарету. Механически Райс вытащил зажигалку, с каждой секундой чувствуя себя все смешнее в парике и в очках; но привычный ритуал — вот ты закуриваешь, вот вдыхаешь первые клубы дыма — был как бы передышкой, позволил ему усесться

поудобнее, расслабить невыносимо напряженное тело под взглядами холодных невидимых созвездий. Он слышал свои ответы на фразы Эвы, слова лились одно за другим почти без усилий, и притом речь не шла ни о чем конкретном; диалог строился, как карточный домик, в котором Эва возводила хрупкие стены, а Райс без труда перекрывал их своими картами, и домик рос ввысь в желтовато-оранжевом свете, но вдруг, после долгого объяснения, где упоминалось имя Майкла («Вы уже видели, что Эва обманывает Хауэлла с Майклом») и имена других людей и других мест, какой-то чай, на котором была мать Майкла (или мать Эвы?), и оправданий почти на грани слез Эва как бы в порыве надежды наклонилась к Раису, словно хотела обвить его руками или ждала, что он обнимет ее, и сразу же после последнего слова, сказанного ясным громким голосом, прошептала у самого его уха: «Не дай им меня убить» — и тут же безо всякого перехода снова четко, профессионально заговорила о том, как ей тоскливо и одиноко. Раздался стук в дверь, находившуюся в глубине сцены, Эва прикусила губу, как будто хотела добавить еще что-то (во всяком случае, так показалось Раису, слишком сбитому с толку, чтобы отреагировать сразу), и

встала на ноги, чтобы встретить Майкла, который вошел с самодовольной улыбкой на губах, невыносимо раздражавшей Раиса в первом акте. Следом появилась дама в красном платье, затем старый джентльмен — вся сцена вдруг заполнилась людьми, которые обменивались приветствиями, цветами, новостями. Райс пожал протянутые ему руки и как можно скорее сел на диван, укрывшись от происходящего за новой сигаретой; теперь действие, по всей видимости, могло обходиться без него, и публика с удовлетворенным перешептыванием встречала блестящие диалоги Майкла с характерными актерами, в то время как Эва занималась чаем и давала указания слуге. Быть может, настал как раз подходящий миг, чтобы подойти к краю сцены, уронить сигарету, растоптать ее ногой и начать: «Уважаемая публика…» Но пожалуй, было бы «элегантнее *(„Не дай им меня убить“)* подождать, пока опустится занавес, и тогда, быстро бросившись вперед, раскрыть мошенничество. Во всем этом был некий церемониал, следовать которому казалось несложно; ожидая своего часа, Райс поддержал разговор со старым джентльменом, принял от Эвы чашку чаю — она подала чашку не глядя, словно знала, что за ней следят Майкл и дама в

красном. Надо было лишь выстоять, не впадать в отчаяние от тягучего бесконечного напряжения, быть сильнее, чем нелепый сговор тех, кто пытался превратить его в марионетку. Было уже совсем просто заметить, как обращенные к нему фразы (иногда — Майкла, иногда дамы в красном, но Эвы — теперь — почти никогда) заключали в себе нужный ответ; пусть марионетка отвечает то, что ей предлагают, пьеса продолжается. Райс подумал, что, имей он чуть побольше времени, чтобы разобраться в ситуации, было бы забавно отвечать наоборот и ставить актеров в тупик; но этого ему не позволят, так называемая свобода действий не оставляла иной возможности, кроме скандала, открытого мятежа. *„Не дай им меня убить“*, — сказала Эва; каким-то образом, столь же абсурдным, как все остальное, Райс чувствовал, что лучше подождать. Вслед за сентенциозной и горькой репликой дамы в красном упал занавес, и Раису показалось, что актеры вдруг спустились с невидимой ступени; они словно съежились, стали безразличными (Майкл пожал плечами, повернулся спиной и зашагал в глубь сцены), уходили за кулисы, не глядя друг на друга, но Райс заметил, что Эва повернула голову в его сторону, пока дама в крас-

ном и старый джентльмен любезно вели ее под руки к правой кулисе. Он подумал было пойти за ней, в его голове промелькнуло смутное видение: артистическая уборная, разговор наедине. „Великолепно, — сказал высокий человек, похлопывая его по плечу. — Очень хорошо, в самом деле, вы делали все превосходно. — Он указывал на занавес, из-за которого долетали последние хлопки. — Им вправду понравилось. Пойдемте выпьем по глотку“. Двое других мужчин, приветливо улыбаясь, стояли неподалеку, и Райс отказался от мысли последовать за Эвой. Высокий открыл дверь в конце первого коридора, и они вошли в небольшую комнату, где были старые кресла, шкаф, уже початая бутылка виски и чудеснейшие стаканы резного хрусталя. „У вас все получилось превосходно, — настаивал высокий, пока все рассаживались вокруг Раиса. — Немного льда, не правда ли? Конечно, любой выйдет оттуда с пересохшим горлом“. Человек в сером костюме, предупреждая отказ Раиса, протянул ему почти полный стакан. „Третий акт труднее, но в то же время занимательнее для Хауэлла, — сказал высокий. — Вы уже видели, как они открывают свои карты. — Быстро, без обиняков он принялся объяснять дальнейший ход действия. — В ка-

кой-то степени вы усложнили дело, — сказал он. — Я никогда не мог предположить, что вы поведете себя так пассивно с вашей женой; я бы реагировал иначе“. „Как?“ — сухо спросил Райс. „Ну нет, дорогой друг, нельзя задавать такие вопросы. Мое мнение может повлиять на ваше собственное решение, ведь у вас уже сложился определенный план действий. Или нет — Райс промолчал, и он добавил: — Если я вам это говорю, так именно потому, что здесь не нужно иметь предварительных планов. Все вышло слишком хорошо, чтобы рисковать, не то можно загубить остальное“. Райс отпил большой глоток виски. „И однако, вы сказали, что во втором акте я могу делать все что захочу“, — заметил он. Человек в сером костюме засмеялся, но высокий посмотрел на него, и тот сделал быстрый извинительный жест. „У приключения или случайности — назовите это, как вам нравится — всегда есть свои границы, — сказал высокий. — Теперь прошу вас, внимательно прислушайтесь к моим указаниям, — разумеется, в деталях вам предоставлена полная свобода“. Повернув правую руку ладонью верх, он пристально поглядел на нее и несколько раз коснулся указательным пальцем левой. Между двумя глотками ему опять наполнили стакан)

Райс выслушал инструкции для Джона Хауэлла. Поддерживаемый алкоголем и каким-то новым чувством — он точно медленно приходил в себя наполнялся при этом холодной яростью, — он без труда вник в смысл инструкций, в сюжетные ходы, которые должны были привести к кризису в последнем акте. „Надеюсь, вам все ясно“, — сказал высокий, очертив пальцем круг на раскрытой ладони. „Очень ясно, — сказал Райс, вставая, — но роме того, мне хотелось бы знать, можно ли в четвертом акте…“ Все в свое время, дорогой друг, — прервал его высокий. — В следующем антракте мы вернемся к этой теме, но теперь я предлагаю вам сосредоточиться исключительно на третьем действии. Ах да, выходной костюм, пожалуйста». Райс почувствовал, что немой расстегивает ему пиджак; человек в сером костюме достал из шкафа тройку из твида и перчатки; Райс автоматически переоделся под одобрительными взглядами всех троих, высокий уже открыл дверь и ждал его; вдали слышался звонок. «Как мне жарко в этом проклятом парике», — подумал Райс, одним глотком приканчивая виски. Почти сразу же, не противясь любезному нажиму руки на его локоть, он оказался среди новых декораций. «Нет, еще рано, — сказал высокий позади

него. — Помните, что в парке прохладно. Быть может, вам лучше поднять воротник пиджака… Ну, ваш выход». Встав со скамьи края дорожки, Майкл шагнул ему навстречу, приветствуя его какой-то шуткой. Райсу следовало ответить с полным безразличием и поддерживать разговор о прелестях осени в Риджент-парке вплоть до появления Эвы и дамы в красном, которые придут кормить лебедей. Впервые — и это удивило его самого почти так же, как остальных, — Райс повысил голос, отпустив колкий намек, по-видимому оцененный публикой, и заставил Майкла перейти к обороне, прибегнуть в поисках выхода к самым очевидным уловкам своего ремесла. Резко отвернувшись от него, как бы укрываясь от ветра, Райс начал закуривать и поверх очков бросил взгляд за кулисы, на троих мужчин; рука высокого взметнулась в угрожающем жесте. Райс рассмеялся сквозь зубы (наверное, он был немного пьян, а кроме того, веселился от души, взмах руки показался ему чрезвычайно забавным), повернулся к Майклу и положил руку ему на плечо. «В парках видишь много занятного, — сказал он. — Право, я не понимаю, как это, находясь в лондонском парке, можно тратить время на лебедей и любовников». Публика засме-

ялась громче, чем Майкл, которого в эту минуту очень заинтересовало появление Эвы и дамы в красном. Уже не колеблясь, Райс двинулся против течения, понемногу нарушая полученные инструкции, яростно и бессмысленно сражаясь с искуснейшими актерами, которые изо всех сил старались вернуть его в роль, и иногда им это удавалось, но он снова увертывался, чтобы как-то помочь Эве, толком не зная почему, но повторяя себе (при этом он давился от смеха, наверное, тут виновато виски), что все изменения, вносимые им сейчас, неизбежно должны повернуть по-иному последний акт *(«Не дай им меня убить»)*. И другие, очевидно, разгадали его намерения, потому что стоило лишь взглянуть поверх очков в сторону левой кулисы, чтобы заметить, как гневно жестикулировал высокий; все на сцене и вне ее боролись против него и Эвы, вставали между ними, чтобы они не могли перекинуться словом, чтобы она ничего ему не сказала, и вот уже входил старый джентльмен в сопровождении мрачного шофера, действие как будто замедлилось (Райс вспомнил инструкции: пауза, потом разговор о покупке акций, разоблачительная реплика дамы в красном и занавес), и в этот миг, когда Майкл и дама в красном непременно

должны были отойти в сторону, чтобы старый джентльмен мог заговорить с Эвой и Хауэллом о биржевой операции (вот уж поистине в этой пьесе ничего не упустили), мысль еще чуточку затруднить действие наполнила Раиса чем-то похожим на счастье. Жестом, показывающим, какое глубокое презрение внушают ему рискованные аферы, он подхватил Эву под руку, ловко обошел разъяренного, но улыбающегося джентльмена и повел ее по дорожке, слыша за спиной лавину остроумных замечаний, никак его не касавшихся, придуманных исключительно для публики, зато Эва была рядом, зато легкое дыхание на секунду овеяло его щеку, и ее настоящий голос прошептал еле слышно: «Останься со мной до конца», но шепот прервался ее инстинктивным движением, сработала профессиональная привычка, которая заставила ее ответить на вопрос дамы в красном, разворачивая Хауэлла так, чтобы разоблачительные слова были брошены ему прямо в лицо. Без всякой паузы, не давая ему ни секунды, чтобы как-то свернуть дальнейшее действие с пути, открытого этими словами, перед глазами Раиса упал занавес. «Глупец», — сказала дама в красном. «Идите, Флора», — приказал высокий, стоя вплотную к довольному, улыбающемуся Раису.

«Глупец», — повторила дама в красном, хватая Эву за локоть, — та стояла опустив голову, чуждая всему происходящему. Толчок указал Райсу дорогу, но его все равно распирало от счастья. «Глупец», — свою очередь сказал высокий. Новый толчок в голову был весьма чувствительным, но Райс сам снял очки и подал их Высокому. «Виски у вас не такое уж плохое, — заметил он, — если вы собираетесь дать мне инструкции к четвертому акту...» От следующего толчка он едва не упал, и когда ему удалось выпрямиться, испытывая легкую тошноту, его уже вели по плохо освещенному коридору; высокий исчез, и двое других держались вплотную, напирая на него, вынуждая идти вперед. Там оказалась дверца, над ней горела оранжевая лампочка.

«Переодевайтесь», — сказал человек в сером костюме, протягивая его одежду. Не успел он надеть пиджак, как дверь распахнулась от удара ноги; его выпихнули на тротуар, на холод, в переулок, пахнущий отбросами. «Сукины дети, этак я схвачу воспаление легких», — подумал Райс, ощупывая карманы. В дальнем конце переулка горели фонари, оттуда доносился шум машин. На первом углу (деньги и бумаги были при нем) Райс узнал вход в театр. Поскольку ничто не

мешало ему осмотреть последнее действие со своего места, он вошел в теплое фойе, окунулся в табачный дым, в болтовню людей в баре; у него еще осталось время выпить виски, но думать он ни о чем не мог. Перед самым поднятием занавеса он еще успел спросить себя, кто же будет исполнять роль Хауэлла в последнем акте и нет ли другого бедняги, который выслушивает сейчас любезности и угрозы и примеряет очки; но, очевидно, шутка каждый вечер кончалась одинаково, потому что он сразу же узнал актера, игравшего в первом акте, — тот читал письмо, сидя в своем кабинете, и затем молча протянул его Эве — бледной, одетой в серое платье. «Это же просто скандально, — заметил Райс, повернувшись к соседу слева. — Где видано, чтобы актера заменяли посреди пьесы?» Сосед устало вздохнул. «С этими молодыми авторами теперь ничего не поймешь, — ответил он. — Наверное, это какой-то символ». Райс поудобнее устроился в кресле, со злорадством прислушиваясь к ропоту зрителей, которые, очевидно, восприняли не так пассивно, как его сосед, физические изменения Хауэлла; и тем не менее театральная иллюзия захватила его почти мгновенно, актер был превосходен, и действие разворачивалось в таком темпе, что

удивило даже Раиса, тонувшего в приятном безразличии. Письмо было от Майкла, он извещал, что покидает Англию; Эва молча прочла его и молча вернула мужу; чувствовалось, что она тихо плачет. *«Останься со мной до конца»,* — сказала ему Эва. *«Не дай им меня убить»,* — несуразно сказала она. Здесь, в безопасности партера, казалось невероятным, чтобы с ней могло что-то случиться в окружении сценической фальши; все было сплошным надувательством, долгим вечером среди париков и нарисованных деревьев. Конечно же, дама в красном должна была нарушить меланхоличный покой библиотеки, где в молчании Хауэлла, в его почти рассеянных движениях, когда он порвал письмо и бросил его в огонь, сквозило прощение, быть может, даже любовь. Дама в красном обязательно должна была намекнуть, что отъезд Майкла — всего лишь маневр, и столь же обязательно Хауэлл давал ей почувствовать вею глубину своего презрения, что отнюдь не исключало вежливого приглашения выпить чашку чаю. Раиса слегка позабавило появление слуги с подносом; чай, казалось, был одним из главнейших ресурсов драматурга, особенно теперь, когда дама в красном в какой-то миг извлекла флакончик из романтической мело-

драмы, а огни потускнели, что было совершенно неуместно в кабинете лондонского адвоката. Раздался телефонный звонок, и Хауэлл с полным самообладанием поговорил с кем-то следовало предвидеть, что произойдет резкое падение курса акций или еще какой-то кризис, необходимый для развязки); чашки перешли из рук в руки с любезными улыбками — демонстрация хороших манер, предшествующая катастрофам. Раису оказался нелепым жест Хауэлла в тот миг, когда Эва подносила чашку к губам, — резкое движение, и серое платье потемнело от пролитого чая. Эва стояла неподвижно, ее поза была почти смешна; на мгновение все на сцене застыли (Райс поднялся с кресла, сам не зная почему, и кто-то нетерпеливо шкал у него за спиной), и в этом оцепенении возглас скандализованной дамы в красном наложился на легкий щелчок, рука Хауэлла поднялась, как будто он собирался о чем-то объявить, Эва повернула голову в сторону публики, словно не веря, и потом начала клониться вбок и в конце концов оказалась почти лежащей на диване, ее медленное движение точно пробудило Хауэлла, он бросился к правой кулисе, но Райс не видел его бегства, потому что сам тоже уже бежал по центральному проходу, когда еще

ни один зритель не двинулся с места. Прыгая вниз по ступеням, он догадался нащупать номерок и получил на вешалке пальто. Уже подбегая к дверям, он слышал первые звуки, сопровождающие окончание спектакля, аплодисменты, голоса, кто-то из служащих бежал вверх по лестнице. Райс бросился в сторону Кинг-стрит и, пробегая мимо бокового переулка, заметил какую-то темную фигуру, движущуюся вдоль стен; дверь, через которую его изгнали, была приоткрыта, но Райс, еще не осознав увиденного, уже мчался по освещенной улице и, вместо того чтобы удаляться от театра, снова спустился по Кингсуэю, предвидя, что никому не придет в голову искать его по соседству. Он повернул на Стрэнд (воротник его пальто был поднят, он шел быстрым шагом, сунув руки в карманы) и наконец с чувством облегчения, непонятным ему самому, затерялся среди запутанной сети переулков, отходящих от Чэнсери-лейн. Опершись о стену (он слегка задыхался и чувствовал, как рубашка прилипла к вспотевшему телу), он закурил и впервые ясно и членораздельно, всеми нужными словами, спросил себя, почему он убегает. Приближающиеся шаги заслонили от него ответ, которого он искал; на бегу он подумал, что, если ему удастся

перейти реку (он был уже недалеко от моста Блэкфраерс), он будет спасен. Он шагнул в нишу подъезда, в стороне от фонаря, освещавшего выход к Уотергейту. Что-то обожгло ему рот; он резко отшвырнул окурок, о котором совершенно забыл, и почувствовал саднящую боль на губах. В окружающем молчании он попытался вернуться к вопросам, так и оставшимся без ответа, но как нарочно в его мозгу все время билась мысль, что он будет в безопасности лишь на другой стороне реки. Логики тут не было, шаги могли преследовать его и на мосту, и в любом переулке на той стороне; и однако он выбрал мост поближе и устремился вперед, воспользовавшись ветром, который помог ему перейти реку и углубиться в лабиринт незнакомых улочек; район был плохо освещен; третья за ночь передышка — в узком и длинном тупике — поставила наконец перед ним единственно важный вопрос, и Райс понял, что не в силах найти ответ. *«Не дай им меня убить»,* — сказала Эва, и он пытался сделать все возможное, тупо и по-дурацки, но ее все равно убили, по крайней мере, ее убили в пьесе, а ему пришлось убегать, потому что пьеса не могла кончиться вот так, безобидно опрокинутая чашка чаю облила платье Эвы, и все равно Эва начала клониться

вбок и в конце концов опустилась на диван; случилось нечто иное, и его не было рядом, чтобы помешать этому, *«останься со мной до конца»* — молила его Эва, но его выкинули из театра, его отстранили от того, что должно было произойти и что он, глупо сидя в партере, видел, не понимая или понимая той частью своего существа, где был страх, и бегство, и этот миг, липкий, как пот, струившийся у него по животу, и отвращение к самому себе. «Но я тут ни при чем, — подумал он. — И ведь ничего не случилось; не может быть, чтобы такое случалось на самом деле». Он старательно повторил себе последние слова: такого не бывает — чтобы к нему подошли, предложили эту нелепицу, любезно угрожали ему; приближающиеся шаги — наверное, шаги какого-нибудь бродяги, шаги, не оставляющие следов. Рыжеволосый человек, который остановился возле него, почти не глянув в его сторону, и судорожным движением снял очки, потер их о лацкан и снова надел, был просто похож на Хауэлла, на актера, игравшего Хауэлла и опрокинувшего чай на платье Эвы. «Снимите этот парик, — сказал Райс. — В нем вас узнают повсюду». «Это не парик», — ответил Хауэлл (его фамилия Смит или Роджерс, Райс уже не помнил, как было указано

в программе). «Что я за дурак», — сказал Райс. Можно было догадаться, что они приготовили парик точь-в-точь такой, как волосы Хауэлла, и очки тоже были копией его очков. «Вы сделали все что могли, — сказал Райс, — я сидел в партере и видел все; любой может засвидетельствовать в вашу пользу». Хауэлл дрожал, прижимаясь к стене. «Не в этом дело, — сказал он. — Какая разница, если они все равно добились своего». Райс наклонил голову; его охватила непобедимая усталость. «Я тоже пытался ее спасти, — сказал он, — но они не дали мне продолжить». Хауэлл сердито взглянул на него. «Всегда одно и то же, — проговорил он, словно думая вслух. — Это так типично для любителей, они воображают, что сумеют сделать все лучше других, а в результате ничего не выходит». Он поднял воротник пиджака, сунул руки в карманы. Райсу хотелось спросить: «Почему всегда одно и то же? И если это так — почему же мы убегаем?» Свист словно влетел в тупик из-за угла, отыскивая их. Они долго бежали бок о бок и наконец остановились в каком-то закоулке, где пахло нефтью и стоячей водой. С минуту они постояли за штабелем мешков; Хауэлл дышал тяжело и часто, как собака, а у Раиса свело судорогой лодыжку. Он потер ее,

опершись на мешки, с трудом удерживаясь на одной ноге. «Но, наверное, все не так уж страшно, — пробормотал он. — Вы сказали, что всегда происходит одно и то же». Хауэлл рукой закрыл ему рот; послышался свист, ему ответил второй. «Каждый бежит в свою сторону, — коротко приказал Хауэлл. — Может, хоть одному удастся спастись». Райс понял, что тот был прав, но ему хотелось, чтобы сперва Пауэлл ответил. Он схватил его за локоть и с силой подтянул себе. «Не оставляйте меня вот так, — взмолился он. — Я не могу вечно убегать, не понимая почему». Он почувствовал дегтярный запах мешков, его рука хватала воздух. Шаги бегущего удалялись; Райс наклонил голову, вдохнул поглубже и бросился в противоположную сторону. В свете фонаря мелькнуло ничего не говорящее название: Роз Элли. Дальше была река и какой-то мост. Мостов и улиц не счесть — только беги.

Все огни — огонь

Какой будет когда-нибудь моя статуя, иронически думает проконсул, поднимая руку, вытягивая ее в приветственном жесте, каменея под овации зрителей, которых не смогли утомить двухчасовое пребывание в цирке и тяжелая жара. Это миг обещанной неожиданности; проконсул опускает руку и смотрит на жену, та отвечает ему бесстрастной улыбкой, приготовленной для публичных празднеств. Ирена не знает, что за этим последует, и в то же время как будто знает, даже неожиданность становится привычкой, когда научаешься сносить капризы хозяина с безразличием, бесящим проконсула. Не глядя на арену, она предвидит, что жребий уже брошен, предчувствует жестокое и нерадостное зрелище. Винодел Ликас и его жена Урания первыми выкрикивают имя, подхваченное и повторенное толпой. «Я хотел сделать тебе приятную неожиданность, — говорит проконсул. — Меня заверили, что ты ценишь стиль этого гладиатора». Хозяйка своей улыбки, Ирена благодарит наклоном головы. «Ты оказала нам честь, согласившись сопровождать

на эти игры, хотя они тебе и наскучили, — продолжает проконсул, — и справедливо, чтобы я постарался вознаградить тебя тем, что больше всего тебе по вкусу». «Ты соль земли! — кричит Ликас. — По твоему велению на нашу бедную провинциальную арену нисходит тень самого Марса!» — «Ты видел только первую половину», — говорит проконсул, касаясь губами чаши с вином и передавая ее жене. Ирена делает долгий глоток, и легкий аромат вина словно отгораживает ее от густого и въедливого запаха крови и навоза. В разом наступившей выжидательной тишине, которая безжалостно очерчивает его одинокую фигуру, Марк идет к середине арены; его короткий меч поблескивает на солнце там, где сквозь дыры в старом холщовом навесе пробивается косой луч, и бронзовый щит небрежно свисает с левой руки. «Ты выставишь против него победителя Смирния?» — возбужденно спрашивает Ликас. «Кое-кого получше, — отвечает проконсул. — Я хотел бы, чтобы твоя провинция помнила меня за эти игры и чтобы моя жена хоть раз перестала скучать». Урания и Ликас аплодируют, ожидая ответа Ирены, но она молча возвращает чашу рабу, как бы не слыша вопля, которым толпа приветствует появление второго

гладиатора. Стоя неподвижно, Марк тоже словно не замечает оваций, встречающих его соперника; концом меча он легко касается своего позолоченного набедренника.

«Алло», — говорит Ролан Ренуар, протягивая руку за сигаретой, — это как бы неизбежное продолжение жеста, которым он снимает трубку. В телефоне потрескивает — там какая-то путаница, кто-то диктует цифры, потом тишина, еще более глухая на фоне молчания, что льется в ухо из телефонной трубки. «Алло», — повторяет Ролан, кладя сигарету на край пепельницы и нашаривая спички в кармане халата. «Это я», — говорит голос Жанны. Ролан утомленно прикрывает глаза и вытягивается поудобнее. «Это я», — ненужно повторяет Жанна. Ролан не отвечает, и она добавляет: «От меня только что ушла Соня».

Ему надо посмотреть на императорскую ложу, сделать традиционное приветствие. Он знает, что должен это сделать и что увидит жену проконсула и самого проконсула и, быть может, жена проконсула улыбнется ему, как на предыдущих играх. Ему не надо думать, он почти не умеет думать, но инстинкт подсказывает ему, что это плохая арена — огромный медно-желтый глаз, грабли и пальмовые листья кривыми дорожками

исчертили песок в темных пятнах от прошлых сражений. Накануне ночью ему приснилась рыба, ему приснилась одинокая дорога меж рухнувших колонн; пока он одевался, кто-то шепнул, что проконсул заплатит ему не золотыми монетами. Марк не стал спрашивать, и человек злобно рассмеялся и ушел, пятясь, не поворачиваясь к нему спиной; а потом другой сказал, что то был брат гладиатора, которого Марк убил в Массилии, но его уже подталкивали к галерее, навстречу крикам толпы. На арене невыносимо жарко, шлем тяжело давит голову, отбрасывая солнечные блики на навес и ступени. Рыба, рухнувшие колонны; неясные сны, провалы памяти в миг, когда, казалось, он мог бы их разгадать. А тот, кто одевал его, сказал, что проконсул заплатит ему не золотыми монетами; пожалуй, жена проконсула не улыбнется ему сегодня.

Крики толпы сейчас не трогают его, ведь это аплодируют другому, правда, меньше, чем Марку минуту назад, но к аплодисментам примешиваются возгласы удивления, и он поднимает голову, смотрит на ложу, где Ирена, повернувшись, говорит с Уранией, где проконсул небрежно делает знак рукой, и все тело его напрягается, рука сжимает рукоять меча. Ему достаточно скользнуть

взглядом по противоположной трибуне; его противник выходит не оттуда; со скрипом поднимается решетка темного коридора, из которого на арену обычно выбегают хищники. Марк видит, как из тьмы появляется гигантская фигура вооруженного сетью нубийца, до тех пор незаметного на фоне мшистого камня; вот теперь каким-то шестым чувством Марк понимает, что проконсул заплатит ему не золотыми монетами, и угадывает значение рыбы и рухнувших колонн.

И в то же время ему неважно, что произойдет между ним и нубийцем, это его работа, все зависит от умения и от воли богов, но тело его еще напряжено, словно из страха, что-то внутри вопрошает, отчего нубиец вышел из коридора для хищников, и тот же вопрос среди оваций задает себе публика, и Ликас спрашивает то же у проконсула, а проконсул молча улыбается, наслаждаясь всеобщим удивлением, и Ликас смеется, и протестует, и считает, что обязан поставить на Марка; еще до того, как раздастся ответ, Ирена знает, что проконсул удвоит ставку в пользу нубийца, а потом благосклонно взглянет на нее и прикажет подать ей охлажденного вина. И она отопьет вино и примется обсуждать с Уранией достоинства нубийца, его рост и свирепость; каждый ход

предусмотрен, хотя подробности неизвестны, может не быть чаши вина или гримаски Урании, когда она станет громко восхищаться могучим торсом великана. Тут Ликас, большой знаток по части цирковых сражений, обратит их внимание на то, что шлем нубийца задел за шипы решетки, а она поднята на два метра от земли, и похвалит непринужденность, с какой боец укладывает на левой руке ячеи сети. Как всегда, как с той уже далекой брачной ночи, Ирена прячется в самый дальний угол самой себя, хотя внешне она снисходительна, улыбается, даже выглядит довольной; и в этой свободной пустой глубине она ощущает знак смерти, который проконсул облек в форму веселой неожиданности, знак смерти, который могут понять лишь она и, быть может, Марк, но Марк не поймет — грозный, молчаливый, не человек, а машина; теперь его тело, что она возжелала прошлый раз в цирке (и проконсул угадал это, ему не нужны провидцы, он угадал это, как всегда, в первый же миг), заплатит за простую игру воображения, за бесполезный взгляд — глаза в глаза — поверх трупа тракийца, искусно убитого точным ударом в горло.

Перед тем как набрать номер Ролана, рука Жанны пролистала страницы журнала мод, кос-

нулась тюбика с успокоительными таблетками, шерсти кота, свернувшегося клубком на диване. Потом голос Ролана произнес «Алло», его чуть сонный голос, и вдруг Жанна почувствовала, что она смешна, что она скажет Ролану именно те слова, которые приобщат ее к сонму телефонных плакальщиц, в то время как единственный и ироничный слушатель будет курить в снисходительном молчании. «Это я», — сказала Жанна, но сказала это больше себе самой, чем молчанию на другом конце провода, на фоне легких попискиваний. Она посмотрела на свою руку, рассеянно приласкавшую кота, перед тем как набрать цифры, кто-то далекодалеко диктует номера, а его собеседник молчит и послушно записывает, отказываясь верить, что эта рука, мимоходом дотронувшаяся до тюбика с таблетками, — ее рука, мимоходом дотронувшаяся до тюбика с таблетками, — ее рука, ее голос, который только что повторил «Это я», — ее голос, звучащий на пределе, у самой границы. Во имя собственного достоинства замолчать, медленно положить трубку на место, остаться в незапятнанном одиночестве. «От меня только что ушла Соня», говорит Жанна, и граница перейдена, начинается смешное, маленький, с удобствами ад.

«А-а», — говорит Ролан и чиркает спичку. Жанна ясно слышит этот звук, она словно видит лицо Ролана: он втягивает дым, слегка откинувшись назад, прикрыв глаза. Поток сверкающих ячеек как будто вылетает из рук черного гиганта, и Марк точным движением уклоняется от падающей сети. В прежние разы — проконсул знает это и поворачивает голову так, чтобы только Ирена видела его улыбку, — он использовал эту долю секунды, самый уязвимый миг для всякого бойца с сетью, чтобы отразить щитом угрозу длинного трезубца и молниеносным движением броситься вперед, к обнаженной груди противника. Но Марк не нападает, он стоит слегка согнув ноги, будто вот-вот прыгнет, а нубиец ловко собирает сеть и готовится к новому броску. «Он погиб», думает Ирена, не глядя на проконсула, который выбирает сласти на подносе, протянутом Уранией. «Он уже не тот, что прежде», — думает Ликас, жалея о верном проигрыше.

Марк чуть пригнулся, следя за вращательным движением нубийца; он единственный, кто еще не знает того, что предчувствуют все, он просто, сжавшись, выжидает другой случай, смутно растерянный от того, что пренебрег наукой. Ему понадобится время, быть может, в часы возлия-

ний, которые следуют за триумфами, он поймет отчего проконсул собирается заплатить ему не золотыми монетами. Угрюмо ждет он нового подходящего мига; кто знает, вдруг в конце, когда он поставит ногу на труп нубийца, он снова увидит улыбку жены проконсула; но об этом думает не он, и тот, кто думает это, уже не верит, что нога Марка станет на грудь заколотого противника.

«Ну, решайся, — говорит Ролан, — или ты хочешь, чтобы я весь вечер слушал этого типа, который диктует цифры бог знает кому?

Тебе его слышно?» — «Да, — говорит Жанна, — слышно, как будто очень издалека. Триста пятьдесят четыре, двести сорок два». На миг все замолкает, кроме далекого монотонного голоса. «Во всяком случае, — говорит Ролан, — он использует телефон по делу». Ответ можно предусмотреть, скорее всего, это будет первая жалоба, но Жанна молчит еще несколько секунд и повторяет: «От меня только что ушла Соня. — Она колеблется и добавляет: Наверное, она скоро будет у тебя». Ролана это бы удивило, Соне незачем идти к нему. «Не лги», — говорит Жанна, и кот выскальзывает из-под руки и смотрит обиженно. «Это вовсе не ложь, — говорит Ролан. — Я имею в виду час, а не сам факт ее прихода. Соня зна-

ет, что я не люблю, когда ко мне приходят или звонят в это время». Восемьсот пять, издалека диктует голос. Четыреста шестнадцать. Тридцать два. Жанна закрывает глаза, выжидая, когда этот безыменный голос сделает первую паузу, чтобы сказать единственное, что остается сказать. Если Ролан повесит трубку, у нее будет еще этот голос в глубине телефона, она сможет держать трубку у уха, все ниже и ниже соскальзывая на диван, поглаживая кота, — он снова устроился у ее бока, играя с тюбиком таблеток, слушая цифру до тех пор, пока другой голос тоже не устанет, и уже не будет ничего, абсолютно ничего, только сама трубка, которая покажется вдруг такой тяжелой, мертвый предмет, годный лишь на то, чтобы отложить не глядя. Сто сорок пять, сказал голос. И где-то еще глубже, точно крохотный карандашный набросок, кто-то, быть может очень робкая женщина, спрашивает между двумя щелчками: «Северный вокзал?».

Ему удается вторично выпутаться из сети, но он плохо рассчитал прыжок назад и поскальзывается на влажном пятне. Отчаянным движением меча, которое заставляет зрителей вскочить с мест, Марк отражает сеть и одновременно приподнимает левую руку со щитом, встречая удар

трезубца. Проконсул пропускает мимо ушей возбужденные комментарии Ликаса и поворачивает голову к Ирене, сидящей неподвижно. «Сейчас или никогда», говорит проконсул.

«Никогда», — отвечает Ирена. «Он уже не тот, что прежде, — повторяет Ликас, — и это дорого ему обойдется, нубиец больше не подпустит его, сразу видно». Марк, застыв посреди арены, как будто осознает свою ошибку; прикрываясь щитом, он неотрывно смотрит на уже собранную сеть, на трезубец, который завораживающе покачивается в двух метрах от его глаз. «Ты прав, он уже не тот, — говорит проконсул. — Ты ставила на него, Ирена?» Пригнувшись, готовый к прыжку, Марк чувствует — кожей, пустотой в желудке, — что толпа отворачивается от него. Если бы у него была одна спокойная секунда, он сумел бы разорвать стягивающий его узел, невидимую цепь, которая идет откуда-то очень издалека, он не знает откуда, и в какой-то миг может обернуться вниманием проконсула, обещанием особой платы и еще сном с рыбой, но теперь, когда уже нет времени ни на что, он чувствует, будто он сам — эта рыба, и сеть пляшет перед глазами и, кажется, ловит каждый луч солнца, пробивающийся сквозь дыры ветхого навеса. Все,

все — цепь, ловушка; распрямившись резким угрожающим движением, от которого публика разражается аплодисментами, а нубиец впервые делает шаг назад, Марк выбирает единственный путь — смятение, пот, запах крови, перед ним смерть, и надо ее отвратить, — кто-то думает это за него, прикрывшись улыбающейся маской, кто-то возжелавший его, слившийся с ним взглядом над телом агонизирующего фракийца.

«Яд, — думает Ирена, — когда-нибудь я найду яд, но теперь приму от него чашу с вином, будь сильней его, жди своего часа». Пауза удлиняется, как удлиняется коварная черная галерея, в которой отрывисто звучит далекий голос, повторяющий цифры. Жанна всегда верила в то, что по-настоящему важные послания часто сообщаются без помощи слов: может быть, эти цифры значат больше, они существеннее, чем любая речь, для того, кто внимательно слушает их, так же как для нее запах духов Сони, легкое прикосновение руки к плечу на пути к двери куда важнее Сониных слов. Но ведь так естественно, что Соня не удовлетворилась шифром, ей надо было произнести все слова, смакуя их одно за другим. «Понимаю, что для тебя это будет большим ударом, — повторила Соня, — но я

ненавижу притворство и предпочитаю сказать тебе всю правду». Пятьсот сорок шесть, шестьсот шестьдесят два, двести восемьдесят девять. «Мне все равно, пошла она к тебе или нет, — говорит Жанна. — Теперь мне все уже безразлично». Вместо новой цифры — долгое молчание. «Ты здесь?» — спрашивает Жанна. «Да», — отвечает Ролан, кладя окурок в пепельницу, и не спеша шарит по полке, отыскивая бутылку коньяка.

«Я только одного не пойму…» — начинает Жанна. «Пожалуйста, — говорит Ролан, — в этих случаях, дорогая, все мало что понимают, а кроме того, если вдруг и поймешь, ничего от этого не выиграешь. Мне жаль, что Соня поторопилась, не ей полагалось бы сказать тебе об этом. Проклятие, кончит он когда-нибудь со своими цифрами?» Еле слышный голос, наводящий на мысль о мире муравьев, продолжает размеренно диктовать под слоем более близкого, более сгущенного молчания. «Но ты, — глупо говорит Жанна, — значит, ты.» Ролан отпивает глоток коньяку. Ему всегда нравится выбирать слова, избегать поверхностных диалогов. Жанна повторит каждую фразу два, три раза, с разными выражениями, с разной интонацией; пусть говорит, пусть повторяется, пока он подготовит минимум осмысленных отве-

тов, которые поставят все на свои места, введут в пристойное русло этот нелепый выплеск чувств. Сделав глубокий вздох, он выпрямляется после обманного движения и боковой атаки; что-то говорит ему, что на этот раз нубиец изменит тактику, что удар трезубцем опередит бросок сети. «Смотри хорошенько, — объясняет Ликас жене. — Я видел, как он действовал в Апта Юлия, это всегда сбивает с толку». Плохо прикрытый, рискуя попасть в поле сети, Марк бросается вперед и только тогда поднимает щит, чтобы укрыться от блестящей реки, срывающейся точно молния с руки нубийца. Он отбрасывает край сети, но трезубец бьет вниз и кровь брызжет из бедра Марка, а слишком короткий меч глухо стукается о древко. «Я же тебе говорил!» — кричит Ликас. Проконсул внимательно смотрит на раненое бедро, на кровь, исчезающую за позолоченным набедренником; он почти с жалостью думает, что Ирене было бы приятно ласкать это бедро, упиться его жаром, его тяжестью, стоная так, как она умеет стонать, когда он стискивает ее, стараясь причинить боль. Он скажет это ей сегодня же ночью, и будет интересно понаблюдать за лицом Ирены, отыскать слабинку в ее идеальной маске, изображающей безразличие до самого

конца, так же как теперь она вежливо делает вид, что увлечена схваткой, от которой разом взвыла чернь, подхлестнутая неотвратимостью конца. «Судьба отвернулась от него, — говорит проконсул. — Я почти чувствую себя виноватым, что привез его сюда, на эту провинциальную арену. Какаято его часть явно осталась в Риме». — «А все прочее останется здесь, вместе с деньгами, что я на него поставил», — смеется Ликас.

«Пожалуйста, успокойся, — говорит Ролан. — Глупо продолжать этот телефонный разговор, когда мы можем встретиться прямо сегодня вечером. Я повторяю, Соня поторопилась, я хотел уберечь тебя от удара». Муравей перестал диктовать свои Цифры, и слова Жанны слышались совсем ясно; в ее голосе нет слез, и это удивляет Ролана, он подготовил фразы, предвидя лавину упреков. «Уберечь от удара? — говорит Жанна. — Ну, конечно, ложью. Обманув меня еще раз».

Ролан вздыхает, отказывается от ответов, которые могли бы продлить этот скучный диалог до бесконечности. «Мне очень жаль, но если ты будешь продолжать в том же духе, я предпочитаю повесить трубку, — говорит он, и впервые в его голосе проскальзывает приветливость. — Лучше уж я зайду к тебе завтра, в конце концов, мы же

цивилизованные люди, какого черта». Очень далеко муравей диктует: восемьсот восемьдесят восемь. «Не надо, — говорит Жанна, и забавно слышать ее слова вперемежку с цифрами: не восемьсот надо восемьдесят восемь. — Больше не приходи никогда, Ролан». Драма, возможные угрозы покончить с собой, скучища, как тогда с Мари-Жозе, как со всеми, кто принимает это слишком трагично. «Не глупи, — советует Ролан, — завтра ты увидишь все в другом свете, так лучше для нас обоих». Жанна молчит, муравей диктует круглые цифры: сто, четыреста, тысяча. «Ну, хорошо, до завтра», — говорит Ролан, с одобрением оглядывая выходной костюм Сони, которая только что открыла дверь и замерла на пороге с полувопросительным-полунасмешливым видом. «Уж, конечно, она не теряла времени даром», — говорит Соня, кладя сумочку и журнал. «До завтра, Жанна», — повторяет Ролан. Молчание на проводе натягивается, будто тетива лука, но тут его сухо обрывает новая далекая цифра — девятьсот четыре. «Бросьте наконец свои дурацкие номера!» — кричит Ролан изо всех сил и, перед тем как отвести трубку от уха, еще улавливает легкий щелчок на другом конце — из лука вылетела безобидная стрела. Парализован-

ный, зная, что не сможет уклониться от сети, которая вот-вот опутает его, Марк стоит перед нубийцем, слишком короткий меч неподвижен в вытянутой руке. Нубиец встряхивает сеть раз, другой, подбирает ее, ища удобное положение, долго раскручивает над головой, словно хочет продлить вопли публики, требующей покончить с противником, и опускает трезубец, отклоняясь в сторону, чтобы придать большую силу броску. Марк идет навстречу сети, подняв щит над головой, и башней рушится на черную фигуру, меч погружается во что-то, воющее выше; песок забивается в рот и в глаза, уже ненужная сеть падает на задыхающуюся рыбу.

Кот безразлично принимает ласки, не чувствуя, что рука Жанны чуть дрожит и начинает остывать. Когда пальцы, скользнув по шерсти, замирают и, вдруг скрючившись, царапают его, кот недовольно мяукает, потом переворачивается на спину и выжидательно шевелит лапами, это всегда так смешит Жанну, но теперь она молчит, рука лежит неподвижно рядом с котом, и только один палец ее зарывается в его мех, коротко гладит и снова замирает между его теплым боком и тюбиком от таблеток, подкатившимся почти вплотную. С мечом, торчащим среди живота, ко-

гда боль превращается в пламя ненависти, вся его гаснущая сила собирается в руке, которая вонзает трезубец в спину лежащего ничком противника. Он падает на тело Марка и в конвульсиях откатывается в сторону; Марк медленно шевелит рукой, приколотой к песку, как огромное блестящее насекомое.

«Не часто бывает, — говорит проконсул, поворачиваясь к Ирене, — чтобы столь опытные гладиаторы убили один другого. Мы можем поздравить себя с редким зрелищем. Сегодня же вечером я напишу о том брату, чтобы хоть немного скрасить его тоскливую супружескую жизнь».

Ирена видит движение Марковой руки, медленное, бесполезное движение, как будто он хочет вырвать из спины длинный трезубец.

Она представляет себе проконсула, голого, на песке, с этим же трезубцем, по древко впившемся в его тело. Но проконсул не шевельнет рукой движением, полным последнего достоинства; он будет бить ногами и визжать, как заяц, и просить пощады у негодующей публики. Приняв руку, протянутую мужем, она встает, еще раз подчиняясь ему; рука на арене перестала шевелиться, единственное, что теперь остается, — это улыбаться, искать спасения в уловках разума.

Коту, по-видимому, не нравится неподвижность Жанны, он продолжает лежать на спине, ожидая ласки, потом, словно ему мешает этот палец у его бока, гнусаво мяукает и поворачивается, отстранившись, уже в полусне, забыв обо всем.

«Прости, что я зашла в такое время, — говорит Соня. — Я увидела твою машину у дверей и не устояла перед искушением. Она позвонила тебе, да?» Ролан ищет сигарету. «Ты поступила плохо, — говорит он.

— Считается, что это мужское дело, в конце концов я был с Жанной больше двух лет, и она славная девочка». — «Да, но удовольствие, — отвечает Соня, наливая себе коньяку. — Я никогда не могла простить ей ее наивность, это просто выводило меня из себя. Представь, она начала смеяться, уверенная, что я шучу». Ролан смотрит на телефон, думает о муравье. Теперь Жанна позвонит еще раз, и будет неудобно, потому что Соня села рядом и гладит его волосы, листая литературный журнал, точно ища картинки. «Ты поступила плохо», — повторяет Ролан, привлекая Соню к себе. «Зайдя в это время?» смеется Соня, уступая рукам, которые неловко нащупывают первую застежку. Лиловое покрывало окутывает плечи Ирены, она стоит спиной к арене, пока про-

консул в последний раз приветствует публику. К овациям уже примешивается шум движущейся толпы, торопливые перебежки тех, кто хочет опередить других и спуститься в нижние галереи. Ирена знает, что рабы тащат по песку трупы, и не оборачивается, ей приятно думать, что проконсул принял приглашение Ликаса поужинать у него в доме, на берегу озера, где ночной воздух поможет забыть ей запах черни и последние крики, медленное движение руки, словно ласкающей песок. Забыть нетрудно, хотя проконсул и преследует ее напоминаниями о прошлом, которое не дает ему покоя. Ничего, когда-нибудь Ирена найдет способ тоже заставить его забыть обо всем и навсегда, да так, что люди подумают, будто он просто умер. «Вот посмотришь, что выдумал наш повар, — говорит жена Ликаса. — Он вернул моему мужу аппетит, а уж ночью…» Ликас смеется и приветствует друзей, ожидая, когда проконсул двинется к выходу, после последнего приветственного жеста, но тот не торопится, словно ему приятно смотреть на арену, где подцепляют на крюки и уволакивают трупы.

«Я так счастлива», — говорит Соня, прижимаясь щекой к груди полусонного Ролана. «Не говори так, — бормочет Ролан. — Всегда думаешь, что

это простая любезность». — «Ты мне не веришь?» — улыбается Соня. «Верю, но не надо говорить это сейчас. Давай лучше закурим». Он шарит по низкому столику, находит сигареты, вставляет одну в губы Сони, приближает лицо, зажигает обе одновременно. Они едва смотрят друг на друга, их уже сморил сон, и Ролан машет спичкой и кладет ее на столик, где должна быть пепельница. Соня засыпает первая, и он очень осторожно вынимает сигарету из ее рта, соединяет со своей и оставляет на столике, Соскальзывая в тепло Сониного тела, в тяжелый, без сновидений сон. Газовая косынка, медленно сворачиваясь, горит без огня на краю пепельницы и падает на ковер рядом с кучей одежды и рюмкой коньяка. Часть публики кричит и скапливается на нижних ступенях; проконсул заканчивает приветствие и делает знак страже расчистить проход. Ликас, первым поняв в чем дело, указывает ему на дальнюю часть старого матерчатого навеса, который рвется у них на глазах и дождем искр осыпает публику, суматошно толпящуюся у выходов. Выкрикнув приказ, проконсул подталкивает Ирену, неподвижно стоящую спиной к нему. «Скорее, пока они не забили нижнюю галерею», — кричит Ликас, бросаясь вперед, обгоняя жену. Ирена первая

почувствовала запах кипящего масла: загорелись подземные кладовые; сзади навес падает на спины тех, кто отчаянно пытается пробиться сквозь толщу сгрудившихся людей, запрудивших слишком тесные галереи. Многие, десятки, сотни, выскакивают на арену и мечутся, ища другие выходы, но дым горящего масла застилает глаза, клочок ткани парит у границы огня и падает на проконсула, прежде чем он успевает укрыться в проходе, ведущем к императорской галерее. Ирена оборачивается на его крик и сбрасывает с него обугленную ткань, аккуратно взяв ее двумя пальцами. «Мы не сможем выйти, — говорит она. — Они столпились внизу, как животные». Тут Соня вскрикивает, стараясь высвободиться из пламенного объятия, обжигающего ее во сне, и ее первый крик смешивается с криком Ролана, который тщетно пытается подняться, задыхаясь в черном дыму. Они еще кричат, все слабее и слабее, когда пожарная машина на всем ходу влетает на улицу, забитую зеваками. «Десятый этаж, — говорит лейтенант. Будет тяжело, дует северный ветер. Ну, пошли».

Другое небо

1

Ces yeux ne t'appartiennent pas… oй les as tu pris?[28]

…IV, 5

Иногда я думал, что все скользит, превращается, тает, переходит само собой из одного в другое. Я говорю «думал», но, как ни глупо, надеюсь, что это еще случится со мной. И вот, хотя стыдно бродить по городу, когда у тебя семья и служба, я порой повторяю про себя, что, пожалуй, уже пора вернуться в свой квартал и забыть о бирже, где я служу, и, если немного повезет, встретить Жозиану и остаться у нее на всю ночь.

Бог знает, давно ли я это повторяю, и мне нелегко, ведь было время, когда все шло само собой и, только задень плечом невидимый угол, попадешь неожиданно в тот мир. Пойдешь пройтись, как ходят горожане, у которых есть излюбленные улицы, и оказываешься чуть не всякий раз в царстве крытых галерей — не потому ли, что галереи и проулки были мне всегда тайной родиной? Например, галерея Гуэмес, место двойное,

---

[28] Примечания: 28
Эти глаза не твои… где ты их взял? (франц.)

где столько лет назад я сбросил с плеч детство, словно старый плащ. Году в двадцать восьмом она была зачарованной пещерой, где неясные проблески порока светили мне сквозь запах мятных леденцов, и вечерние газеты вопили об убийствах, и горели огни у входа в подвал, в котором шли бесконечные ленты реалистов.

Жозианы тех лет смотрели на меня насмешливо и по-матерински, а я, с двумя грошами в кармане, ходил, как взрослый, заломив шляпу, заложив руки в карманы, и курил, потому что отчим предрек мне умереть от сигарет. Лучше всего я помню запахи и звуки, и ожиданье, и жажду, и киоск, где продавали журналы с голыми женщинами и адресами мнимых маникюрш. Я уже тогда питал склонность к гипсовому небу галерей, к грязным окошкам, к искусственной ночи, не ведающей, что рядом — день и глупо светит солнце. С притворной небрежностью я заглядывал в двери, за которыми скрывались тайны тайн, и лифт возносил людей к венерологам или выше, в самый рай, к женщинам, которых газеты зовут порочными. Там ликеры, лучше бы — зеленые, в маленьких рюмках, и лиловые кимоно, и пахнет там, как пахнет из лавочек (на мой взгляд — очень шикарных), сверкающих во

мгле галерей непрерывным рядом витрин, где есть и хрустальные флаконы, и розовые лебеди, и темная пудра, и щетки с прозрачными ручками.

Мне и теперь нелегко войти в галерею Гуэмес и не растрогаться чуть насмешливо, вспомнив юные годы, когда я чуть не погиб.

Прелесть былого не тускнеет, и я любил бродить без цели, зная, что вот-вот войду в мир крытых галереек, где пыльная аптека влекла меня больше, чем витрины широких, наглых улиц. Войду в Галери Вивьен или в Пассаж-де-Панорама, где столько тупичков и переулков, ведущих к лавке букиниста или к бюро путешествий, не продавшему ни билета; в маленький мир, выбравший ближнее небо, где стекла — грязны, а гипсовые статуи протягивают вам гирлянду; в Галери Вивьен, за два шага от будней улицы Реомюра или биржи (я на бирже служу). Войду в мой мир — я и не знал, а он был моим, когда на углу Гуэмес я считал студенческие гроши и прикидывал, пойти мне в бар-автомат или купить книжку или леденцов в прозрачном фунтике, и курил, моргая от дыма и трогая в глубине кармана пакетик с невинной этикеткой, приобретенный в аптеке, куда заходят одни мужчины, хотя и надеяться не мог пустить его в дело, слишком я был беден и

слишком по-детски выглядел.

Моя невеста, Ирма, никак не поймет, почему я брожу в темноте по центру и по южным кварталам, а если б она знала, что особенно я люблю Гуэмес, она бы ужасно удивилась. Для нее, как и для матери, нет лучшего места, чем диван в гостиной, и лучшего занятия, чем кофе, ликер и то, что зовется беседой. Ирма — кротчайшая из женщин, я никогда не говорил ей о том, чем живу, и потому, наверное, стану хорошим мужем и хорошим отцом, чьи дети, кстати, скрасят старость моей матери. Наверное, так и узнал я Жозиану нет, не только из-за этого, мы ведь могли встретиться и на бульваре Пуассоньер или на Рю-Нотр-Дам-де-Виктуар, а на самом деле мы впервые взглянули друг на друга в самых недрах Галери Вивьен, под сенью гипсовых статуй, дрожащих в газовом свете (венки трепетали в пыльных пальцах муз), и я сразу узнал, что тут ее место, и нетрудно ее встретить, если ты бываешь в кафе и знаком с кучерами. Может быть, это случайно, но мы встретились с ней, когда в мире высокого неба, в мире без гирлянды, шел дождь, и я счел это знаком, и не подумал, что просто столкнулся со здешней девкой. Потом я узнал, что в те дни она не отходила от галереи, потому

что снова пошли слухи о зверствах Лорана, и ей было страшно. Страх придал ей особую прелесть, она держалась почти робко, Но не скрывала, что я ей очень нравлюсь.

Помню, она глядела на меня и недоверчиво и пылко и расспрашивала поравнодушней, а я не верил себе, и радовался, что она живет тут же, наверху, и просил ее пойти к ней, а не в отель на улице Сантье, хотя там она многих знала и ей было бы спокойней. Потом она поверила, и мы смеялись ночью, что я мог оказаться Лораном. Мансарда была точь-в-точь как в дешевой книжке, а Жозиана — так прелестна, и так боялась убийцы, пугавшего Париж, и прижималась ко мне, когда мы говорили о его злодействах.

Мать знает всегда, если я не спал дома, и хотя ничего не скажет (это было бы глупо), дня два смотрит на меня то ли робко, то ли оскорбленно. Я понимаю прекрасно, что Ирме она не проговорится, но все ж надоело, материнский присмотр уже ни к чему, а еще досадней, что в конце концов я-то и явлюсь с цветком или с коробкой конфет, и само собой станет ясно, что ссора кончена, и сын-холостяк снова живет, как люди. Жозиана радовалась, когда я описывал ей эти сцены, и там, в нашем царстве галереек, они стали своими

так же просто, как их герой. Она, Жозиана, очень чтила семейные связи, и свойство, и родство; я не люблю говорить о своем, но о чем-то говорить надо, а все, о чем поведала она, было уже переговорено, вот мы и возвращались почти неизбежно к моим холостяцким затруднениям.

И это мне было тоже на руку, Жозиана любила галерейки — потому ли, что там жила, или потому, что там было тепло и сухо (мы познакомились в начале зимы, шел ранний снег, а в галереях, у нас, было весело и его не замечали). Мы ходили вдвоем, когда оставалось время, то есть когда один человек (она не хотела называть его) был ублажен и отпускал ее поразвлечься. Мы мало говорили о нем — я спрашивал, конечно, а она, конечно, лгала о деловых отношениях, и само собой подразумевалось, что он — хозяин, достаточно тактичный, чтобы не лезть на глаза. Потом я решил, что он рад, когда я хожу с Жозианой, потому что в те дни все особенно боялись, убийца снова натворил дел на Рю-д'Абукир, и она, бедняжка, не посмела бы уйти в темноте от Галери Вивьен. В сущности, мне полагалось благодарить и Лорана, и хозяина, из-за этих страхов я бродил с Жозианой по переходам, заглядывал в кафе и все больше понимал, что становлюсь другом де-

вушке, с которой, казалось бы, ничем и не связан. Мы говорили глупости, молчали и понемногу, постепенно убеждались в нашей нежной дружбе. Я привыкал к чистой, маленькой каморке, так вписывавшейся в галереи. Вначале я поднимался ненадолго, у меня не хватало денег на ночь, да и ее ждал другой, побогаче, и я ничего не успевал разглядеть, а позже, дома, где единственной роскошью были журналы и серебряный чайник, вспоминал, и ничего не помнил, кроме самой Жозианы, и засыпал, словно она еще в моих объятиях. Но с дружбой пришли и права; а может, Жозиана уговорила хозяина, и он разрешил ей оставлять меня на ночь, и комната стала заполнять перерывы наших, не всегда легких, бесед. Все куклы, все картинки, все безделушки поселились в моей памяти и помогали лгать, когда я возвращался домой и говорил с матерью или с Ирмой о политике и о болезнях.

Потом пришло и другое, например — смутный абрис того, кого она звала американцем, но сперва всем владел страх перед тем, кто, если верить газетам, звался Лораном-душителем. Если я решаюсь вспомнить Жозиану, я вижу, как мы входим в кафе на Рю-де-Женер, садимся на малиновый плюш, здороваемся с друзьями, и сразу

всплывает Лоран, все только о нем и говорят, а я утомился за день от работы и оттого, что на бирже, в перерывах, коллеги и клиенты тоже говорили о его последнем злодействе, и я думал теперь, кончится ли этот тяжкий сон, будет ли снова так, как, по моим представлениям, было здесь прежде (хотя тогда я тут не был), или жутким забавам нет конца. А хуже всего — говорю я Жозиане, спросив грогу, который так нужен в снег, — хуже всего, что мы его не знаем и зовем Лораном, потому что одна ясновидящая узрела в своем стеклянном шаре, как убийца писал кровавыми пальцами собственное имя, а газеты не хотят перечить тому, во что верит народ. Жозиана не глупа, но никто не убедит ее, что злодея зовут иначе, и нечего спорить с ней, когда, испуганно мигая синими глазами, она смотрит как бы невзначай на молодого человека, высокого и сутулого, который вошел в кафе и, не здороваясь ни с кем, прислонился к стойке.

— Может быть… — прерывает она мое наспех придуманное утешение, — а подниматься мне одной. Если ветер задует свечу, когда я буду на лестнице… Темно, я одна…

— Ты редко идешь одна, — смеюсь я.

— Вот, тебе смешно, а бывает, особенно в снег

или в дождь, идешь под утро…

Она расписывает, как он притаился на площадке или, не дай господь, в комнате (дверь он открыл всесильной отмычкой). За соседним столом вздрагивает Кики, и ее нарочитый крик отдается в зеркалах. Нас, мужчин, очень веселит этот кокетливый страх, и мы снисходительно и важно охраняем подружек. Хорошо курить трубку в кафе, когда дневная усталость растворяется в вине и в дыме, а женщины хвастают шляпами, боа и смеются пустякам; хорошо целовать Жозиану, хотя она задумчиво глядит на пришельца, почти мальчика, который стоит спиной к нам и мелкими глотками пьет абсент, опираясь на стойку. А все же удивительное дело: подумаешь о Жозиане (я всегда вспоминаю ее в кафе, снежным вечером, за разговором об убийце), и тут же в памяти явится тот, кого она звала американцем, и стоит спиною к ней, и пьет абсент. Я тоже зову его американцем или аргентинцем, она убедила меня, что он — оттуда, ей говорила Рыжая, та с ним спала еще до того, как они с Жозианой поругались, кому на каком углу стоять или когда стоять, и зря, они ведь очень дружат. Так вот, Рыжая сказала, что он ей сам признался, иначе и не угадаешь, у него совсем нет акцента. Сказал

он, когда раздевался — кажется, снимал ботинки; надо же, в конце концов, о чем-то говорить.

— Вот он какой, совсем мальчишка. Правда, как из школы, только высокий? А ты бы послушал Рыжую!.. Жозиана всегда сплетала пальцы, когда рассказывала страшное, и расплетала, и сплетала снова.

Она поведала мне об его требованиях (не особенно, впрочем, странных), об отказе Рыжей и о том, как угрюмо он ушел. Я спросил, приглашал ли он ее. Нет, как можно, ведь все знают, что они с Рыжей — подруги. Он сам тут живет, про всех слышал, и, пока она говорила, я посмотрел на него снова и увидел, как он платит за абсент, бросает монетку на свинцовое блюдце, а нас (будто мы исчезли на бесконечный миг) окидывает пристальным, пустым взглядом, словно застрял в сновиденьях и не хочет проснуться. Он был молод и хорош, но от такого взгляда волей-неволей вспоминались жуткие слухи об убийствах. Я тут же сказал об этом ей.

— Кто, он? Ты спятил! Да ведь Лоран…

К несчастью, никто ничего не знал, хотя и Кики и Альбер помогали нам для потехи обсуждать разные версии. Подозрение наше рухнуло, когда хозяин, слышавший все разговоры, вспомнил,

что кое-что о Лоране известно: он может задушить одной рукой. А этот сопляк… куда ему! Да и вообще поздно, пора идти, мне хотя бы, потому что Жозиану ждет в мансарде тот, другой, по праву владеющий ключом, и я провожу ее один пролет, чтоб не боялась, если погаснет свеча, и я вдруг устал, и смотрел, как она идет, и думал, что она, наверное, рада, а мне сказала неправду, и потом я вышел на скользкий тротуар, под снег, и пошел куда глаза глядят, и вышел вдруг на дорогу, и сел в трамвай, где люди читали вечерние газеты или глядели в окошко, словно хоть что-то увидишь в такой тьме, в этих кварталах.

Не всегда удавалось мне дойти до галереек или застать Жозиану свободной. Иногда я просто бродил по проулкам, разочарованно слонялся, убеждаясь понемногу, что и ночь — моя возлюбленная. В час, когда загорались газовые рожки, наше царство оживало, кафе обращалось в биржу досуга и радости, и люди жадно пили хмельную смесь заката, газет, политики, пруссаков, бегов и страшного Лорана. Я любил выпивать понемногу то там, то сям, спокойно поджидая, когда на углу галерейки или у витрины встанет знакомый силуэт. Если она была не одна, она давала мне понять (у нас был знак), когда освободится; ино-

гда же — только улыбалась, и я уходил бродить по галереям. В такие часы я исследовал и узнал самые дальние углы Галери Сент-Фуа, к примеру, и недра Пассаж-дю-Каир, но, хотя они нравились мне больше, чем людные улицы (а были и такие — Пассаж-де-Прэнс, Пассаж-Верде), хотя они нравились мне больше, я, сам не знаю как, любым путем, приходил к Галери Вивьен не только ради Жозианы, но и ради надежных решеток, обветшалых фигур и темных закоулков галереи Пассаж-де-Пти-Пэр, ради всего этого мира, где не надо думать об Ирме и распределять время, и можно плыть по воле случая и судьбы. Мне не за что зацепиться памятью, и я не скажу, когда же именно мы снова заговорили об американце. Как-то я увидел его на углу Рю-Сен-Мар. Он был в черном плаще, модном лет за пять до того (тогда их носили с высокой широкополой шляпой), и мне захотелось спросить его, откуда он родом. Однако я представил себе, как холодно и злобно принял бы такой вопрос я сам, и не подошел.

Жозиана сказала, что зря, — наверное, он был ей интересен, она обижалась за своих и вообще страдала любопытством. Она вспомнила, что ночи две назад вроде бы видела его у Галери Вивьен, хотя он там бывал нечасто.

— Не нравится мне, как он смотрит, — говорила она. — Раньше я и внимания не обращала, но когда ты сказал про Лорана…

— Да я шутил! Мы сидели с Кики и Альбером, а он ведь шпик, сама знаешь. Он бы непременно сообщил. За голову Лорана хорошо заплатят.

— Глаза нехорошие, — твердила она. — Смотрит в сторону, а все, как есть, видит. Подойдет ко мне — убегу, истинный крест.

— Мальчишки испугалась! А может быть, по-твоему, мы, аргентинцы, вроде обезьян?

Все знают, чем кончаются такие беседы. Мы пили грог на Рю-де-Женер и, пройдясь по галереям, заглянув в театры на бульваре, поднимались к ней, а там смеялись до упаду. Были недели (нелегко мерить время, если счастлив), когда мы смеялись постоянно, даже глупость Бадэнге[29] и угроза войны смешили нас. Просто глупо, что такая гадость, как Лоран, могла унять наше веселье — но так было. Он убил еще одну женщину на Рю-Борегар, совсем рядом, — и мы в кафе приуныли, и Марта, прибежавшая, чтоб крикнуть нам новость, зашлась в истерике, и мы кое-как проглотили душивший нас клубок. В тот вечер

---

[29] Примечания: 29
Бадэнге — прозвище Наполеона III.

полиция прочесала квартал, все кафе, все отели, Жозиана пошла за хозяином, и я отпустил ее, потому что тут была нужна высочайшая помощь. На самом же деле все это сильно меня огорчало — галерейки не для того, совсем не для того, — и я пил с Кики, а потом с Рыжей, которая хотела помириться через меня с Жозианой. У нас пили много, и в жарком облаке, в винном чаду, в гуле голосов мне почудилось, что ровно в полночь американец сел в угол и заказал абсент — как всегда, изящно, рассеянно и странно. Я пресек откровенности Рыжей и сказал, что сам все знаю, вкус у него неплохой, ругать не за что; она замахнулась в шутку, и мы еще смеялись, когда Кики снизошла и сообщила, что бывала у него. Пока Рыжая еще не впилась в нее ноготками вопроса, я спросил, как же он живет, какая у него комната. «Большое дело — комната!» — бросила Рыжая; но Кики снова нырнула в мансарду на Рю-Нотр-Дам-де-Виктуар и, словно плохой фокусник, извлекала из памяти серую кошку, кучи исписанной бумаги, большой рояль, и опять бумаги, и снова кошку, которая, должно быть, осталась лучшим воспоминанием.

Я не мешал ей, и глядел в тот угол, и думал, что, в сущности, очень просто подойти и сказать

что-нибудь по-испански. Потом я чуть не встал (и до сих пор, как многие, не знаю, почему я не решился), но остался с девицами, и закурил новую трубку, и спросил еще вина. Не помню, что я чувствовал, когда поборол свое желание, — тут был какой-то запрет, мне казалось, что я вступлю в опасную зону. И все же я так жалею, что не пошел, словно это могло меня спасти. От чего спасти, в сущности? От этого: тогда б я не думал теперь все время, без перерыва, почему же я не встал, и знал бы другой ответ, кроме беспрерывного курения, дыма и ненужной, смутной надежды, которая идет со мной по улицам, как шелудивый пес.

2

Ou sont-ils passes, les bees de gaz?
Que sont-elles devenues, les vendeuses d'amour?[30]

…VI, 1

Понемногу я убедился, что времена пошли плохие и, пока Лоран и пруссаки так сильно нас тревожат, в галереях уже не будет, как было.

Мать, наверное, поняла, что я сдал, и посоветовала принимать таблетки, а Ирмины родители (у них был домик на острове) пригласили меня отдохнуть и пожить здоровой жизнью. Я отпросился на полмесяца и неохотно поехал к ним, заранее злясь на солнце и москитов. В первую же субботу под каким-то предлогом я вырвался в город и пошел, как по волнам, по размякшему асфальту. От этой глупой прогулки осталось все же хотя бы одно хорошее воспоминанье: когда я вошел в галерею Гуэмес, меня окутал запах кофе, крепкого, почти забытого, — в галереях пили слабый, подогретый. Я обрадовался и выпил две

---

[30] Примечания: 30
Куда они девались, газовые рожки?
Что стало с ними, торговавшими любовью? (франц.)

чашки без сахару, смакуя, обжигаясь и нюхая. Потом, до вечера, все пахло иначе; во влажном воздухе, словно вода в колодцах, стояли запахи (я шел домой, обещал матери поужинать с ней вместе), и с каждым колодцем запах был резче, злее, пахло мылом, табаком, кофе, типографией, мате, пахло зверски, и солнце с небом тоже становились все злей и суше. Не без досады я забыл о галереях на несколько часов, а когда возвращался через Гуэмес (неужели это было в те полмесяца? Наверное, я спутал две поездки, а в сущности — это не важно), тщетно ждал, что мне в лицо ударит радостный аромат кофе. Запах стал обычным, сменился сладковатой вонью опилок и несвежего пива, сочащейся из здешних баров, — быть может, потому что я снова хотел встретить Жозиану и даже надеялся, что страх и снегопады наконец кончились. Кажется, в те дни я понял хоть немного, что все пошло иначе, однако желания тут мало, и прежний ритм не вынесет меня к Галери Вивьен, а может, я просто вернулся на остров, чтобы не расстроить Ирму, зачем ей знать, что единственный мой отдых совсем не с ней? Потом опять не выдержал, уехал в город, ходил до изнеможенья, рубашка прилипла к телу, я пил пиво и все чего-то ждал. Выходя

из последнего бара, я увидел, что, завернув за угол, попаду туда, к себе, и обрадовался, и устал, и смутно почувствовал, что дело плохо, потому что страх тут по-прежнему царил, судя по лицам, по голосу Жозианы, стоявшей на своем углу, когда она жалобно хвасталась, что сам хозяин обещал защищать ее. Помню, между двумя поцелуями я мельком увидел его в глубине галереи, в длинном плаще, защищавшем от мокрого снега.

Жозиана была не из тех, кто укоряет, что ты долго не был, и я задумывался порой, замечает ли она время. Мы вернулись под руку к Галери Вивьен и поднялись наверх, но позже поняли, что нам не так хорошо, как раньше, и решили, должно быть, что это — из-за здешних тревог; война была неизбежна, мужчины шли в армию (она говорила об этом важно, казенными словами, с почтеньем и восторгом невежды), люди боялись, злились, а полиция никак не могла поймать Лорана. Чтоб утешиться, казнили других, например отравителя, о котором болтали в кафе на Рю-де-Женер, когда еще не кончился суд; но страх рыскал по галереям, ничего не изменилось с нашей встречи, даже снег шел, как тогда.

Чтоб развлечься, мы пошли погулять, холода мы не боялись, ей надо было показать новое паль-

то на всех углах, где ее подруги ждали клиентов, дуя на пальцы и грея руки в муфтах. Мы не часто ходили вот так по бульварам, и я подумал, что среди витрин все же как-то спокойнее. Когда мы ныряли в переулок (ведь надо показать пальто и Франсине и Лили), становилось страшней, но наконец обновку все посмотрели, и я предложил пойти в кафе, и мы побежали по Рю-де-Круассон, и свернули обратно, и спрятались в тепле, среди друзей. К счастью, о войне в этот час подзабыли, никто не пел грязноватых куплетов о пруссаках, было так хорошо сидеть с полным бокалом, недалеко от печки, и случайные гости ушли, остались только мы, свои хозяину, здешние, и Рыжая просила у Жозианы прощенья, и они целовались, и плакали, и даже дарили что-то друг другу. Мы были как бы сплетены в гирлянду (позже я понял, что гирлянды бывают и траурные), за окном шел снег, бродил Лоран, мы сидели в кафе допоздна, а в полночь узнали, что хозяин ровно пятьдесят лет простоял за стойкой. Это надо было отпраздновать; цветок сплетался с цветком, бутылки множились, их ставил хозяин, мы почитали его дружбу и усердие, и к трем часам пьяная Кики пела опереточные арии, а Жозиана и Рыжая, обнявшись, рыдали от счастья и абсента, и, не

обращая на них внимания, Альбер вплетал новый цветок, предложив отправиться в Рокет[31], где ровно в шесть казнили отравителя, и хозяин растрогался, что полвека беспорочной службы увенчиваются столь знаменательно, и обнимался с нами, и рассказывал о том, что жена его умерла в Лангедоке, и обещал нанять фиакры.

Потом пили еще, вспоминали матерей и детство, ели луковый суп, сваренный на славу Рыжей и Жозианой, пока Альбер и я обнимались с хозяином, клялись в вечной дружбе и грозили пруссакам. Наверное, суп и сыр охладили нас — мы как-то притихли, и нам было не по себе, когда запирали кафе, гремя железом, и холод всей земли поджидал нас у фиакров. Нам было лучше поехать вшестером, мы б согрелись, но хозяин жалел лошадей и посадил в первый фиакр, с собой вместе Рыжую и Альбера, а меня поручил Кики и Жозиане, которые, как он сказал, были ему вроде дочек. Мы посмеялись над этим с кучерами и отошли немного, пока фиакр пробирался к Попэнкуру и кучер усердно делал вид, что гонит вскачь, понукает коней и даже стегает их кнутом.

---

[31] Примечания: 31
Рокет — парижская тюрьма.

Из каких-то неясных соображений хозяин настоял, чтобы мы остановились поодаль, и, держась за руки, чтоб не поскользнуться, мы поднялись пешком по Рю-де-ла-Рокет, слабо освещенной редкими рожками, среди теней, которые в полоске света оборачивались цилиндрами, или фиакром, или людьми в плащах и сливались в глубине улицы с большой и черной тенью тюрьмы. Скрытый, ночной мир толкался, делился вином, смеялся, взвизгивал, шутил, и наступало молчанье, или вспыхивал трут, вырывая лица из мрака, а мы пробирались, стараясь держаться вместе, словно знали, что только так мы искупим свой приход. Гильотина стояла на пяти каменных опорах, и слуги правосудия неподвижно ждали меж нею и каре солдат, державших ружья с примкнутым штыком. Жозиана впилась мне ногтями в руку и так тряслась, что я хотел повести ее в кафе, но их тут не было, а она ни за что не соглашалась уйти. Держа под руку меня и Альбера, она подпрыгивала, чтоб рассмотреть машину, и снова впивалась мне в рукав и, наконец, схватив меня за шею, пригнула мою голову и поцеловала меня, укусила в истерике, бормоча то, что я редко от нее слышал, и я на миг возгордился, словно получил над ней власть. Истым ценителем был

один Альбер; он курил сигару и, чтоб убить время, наблюдал за церемонией, прикидывая, что будет делать преступник в последний момент и что происходит в тюрьме (он откуда-то это знал). Сперва я жадно слушал, узнавал все детали ритуала, но постепенно, медленно, оттуда, где нет ни его, ни Жозианы, ни праздника, что-то надвигалось на меня, и я все больше чувствовал, что я — один, что все не так, что под угрозой мой мир галереек, нет, хуже — все мое здешнее счастье только обман, пролог к чему-то, ловушка среди цветов, словно гипсовая статуя дала мне мертвую гирлянду (я еще вечером думал, что все сплетается), дала венок, и я понемногу скольжу из невинного опьянения галереи и мансарды в ужас, в снег, угрозу войны, туда, где хозяин справляет юбилей и зябнут на заре фиакры и Жозиана, вся сжавшись, прячет лицо у меня на груди, чтоб не видеть казни. Мне показалось (решетки дрогнули, и офицер дал команду), что это, по сути, конец, сам не знаю чего, ведь жить я буду, и ходить на биржу, и видеться с Жозианой, Альбером и Кики. Тут Кики стала колотить меня по плечу, повернувшись к приоткрывшимся решеткам, и мне пришлось взглянуть туда, куда глядела она и удивленно и насмешливо, и я увидел чуть не

рядом с хозяином сутуловатую фигуру в плаще, и узнал американца, и подумал, что и это вплетается в венок, словно кто-то спешит доплести его до зари. А больше я не думал — Жозиана со стоном прижалась ко мне, и там, в большой тени, которую никак не могли разогнать две полоски света, падавшие от газовых рожков, забелела рубаха между двумя черными силуэтами. Белое пятно поплыло, исчезло, возникло, а над ним то и дело склонялся еще один силуэт, и обнимал его, или бранил, или тихо говорил с ним, или давал что-то поцеловать, а потом отошел, и пятно чуть приблизилось к нам в рамке черных цилиндров, и вдруг что-то стали делать ловко, словно в цирке, и, отделившись от машины, его схватили какие-то двое, и дернули, будто сорвали с плеч ненужное пальто, и толкнули вперед, и кто-то глухо крикнул — то ли Жозиана у моей груди, то ли само пятно, скользившее вниз в черной машине, где что-то двигалось и гремело. Я подумал, что Жозиане дурно, она скользила вдоль меня, словно еще одно тело падало в небытие, и я поддержал ее, а ком голосов рассыпался последними аккордами мессы, грянул в небе орган (заржала лошадь, почуяв запах крови), и толпа понесла нас вперед под крики и команды.

Жозиана плакала от жалости, а я видел поверх ее шляпы растроганного хозяина, гордого Альбера и профиль американца, тщетно пытавшегося разглядеть машину — спины солдат и усердных чиновников закрывали ее, видны были только пятна, блики, полоски, тени в мельканье плащей и рук, все спешили, все хотели выпить, согреться, выспаться, и мы хотели того же, когда ехали в тесном фиакре к себе в квартал и говорили, кто что видел, и успели между Рю-де-ла-Рокет и биржей все сопоставить, и поспорить, и удивиться, почему у всех по-разному, и похвастаться, что ты и видел, и держался лучше, и восхищался последней минутой, не то что наши робкие подружки.

Не удивительно, что мать сокрушалась о моем здоровье и сетовала откровенно на мое безразличие к бедной Ирме, которое, на ее взгляд, могло поссорить меня с влиятельными друзьями покойного отца. На это я молчал, а через день-другой приносил цветок или уцененную корзиночку для шерсти. Ирма была помягче — должно быть, она верила, что после брака я снова буду жить как люди; и сам я был недалек от этих мыслей, хотя и не мог расстаться с надеждой на то, что там, в царстве галереек, страх схлынет и я не буду искать защиты дома и понимать, что защиты нет, как

только мама печально вздохнет, а Ирма протянет мне кофе, улыбаясь хитрой улыбкой невесты. В те дни у нас царила одна из бесчисленных военных диктатур, но всех волновала большая угроза мировой войны, и всякий день в центре собирались толпы, чтоб отметить продвижение союзников и освобождение европейских столиц. Полиция стреляла в студентов и женщин, торговцы опускали железные шторы, а я, застрявши в толпе у газетных стендов, думал, когда же меня доконает многозначительная улыбка Ирмы и биржевая жара, от которой мокнет рубаха. Я чувствовал теперь, что мирок галереек — не цель и не венец желаний.

Раньше я выходил, и вдруг на любом углу все могло закружиться почти незаметно, и я попадал без усилий на Плас-де-Виктуар, откуда так приятно нырнуть в переулок, к пыльным лавочкам, а если повезет — оказывался в Галери Вивьен и шел к Жозиане, хотя, чтоб себя помучить, любил пройтись для начала по Пассаж-де-Панорама и Пассаж-де-Прэнс и, обогнув биржу, прийти кружным путем. А теперь в галерее Гуэмес даже не пахло кофе мне в утешенье (несло опилками и щелоком), и я чувствовал смутно, что мир галереек — не пристань, и все же верил еще, что

смогу освободиться от Ирмы и от службы и найти без труда угол, где стоит Жозиана. Я всегда хотел вернуться — и перед газетными витринами, и среди приятелей, и дома, в садике, а больше всего вечером, когда там загорались на улице газовые рожки.

Но что-то держало меня около матери и Ирмы — быть может, я знал, что в галерейках Меня уже не ждут, страх победил. Словно автомат, входил я в банки и в конторы, терпеливо покупал акции и продавал и слушал, как цокают копыта и полицейские стреляют в толпу, славящую союзников, и так мало верил в освобождение, что, очутившись в мире галереек, даже испугался. Раньше я не чувствовал себя таким чужим, чтоб оттянуть время, я нырнул в грязный подъезд и, глядя на прохожих, впервые привыкал заново к тому, что казалось мне прежде моим: к улицам, фиакрам, перчаткам, платьям, снегу во двориках и гомону в лавках. Наконец стало снова светло, и я нашел Жозиану в Галери Кольбер, и она целовала меня, и прыгала, и сказала, что Лорана уже нет, и в квартале всякий вечер это празднуют, и все спрашивают, куда я пропал, как же не слышал, и снова прыгала, и целовала. Никогда я не желал ее так сильно, и никогда нам не было лучше под

крышей, до которой я мог дотянуться из постели. Мы шутили, целовались, радостно болтали, а в мансарде становилось все темнее. Лоран? Такой курчавый, из Марселя, он трус, он заперся на чердаке, где убил еще одну женщину, и жалобно просил пощады, пока полицейские взламывали дверь. Его звали Поль, мерзавца, нет, ты подумай — еще и трус, убил девятую женщину, а когда его тащили в тюремную карету, вся здешняя полиция стояла (правда, без особой охоты), а то б его убила толпа. Жозиана уже привыкла, погребла его в памяти, не сохранившей деталей, но мне и того хватало, я просто не верил, и только ее радость убедила меня наконец, что Лорана нет, и мы сможем ходить по переулкам, не опасаясь подъездов. Это надо было отметить, и, раз еще и снега не было, Жозиана повела меня на танцы к Пале-Рояль, где мы не бывали при Лоране. Когда, распевая песни, мы шли по Рю-де-Пти-Шан, я обещал ей повести ее попозже на бульвары, в кабаре, а потом — в наше кафе, где за бокалом вина я искуплю свое отсутствие.

Несколько недолгих часов я пил из полной чаши здешнего, счастливого времени, убеждаясь, что страх ушел, и я вернулся под мое небо, к гирляндам и статуям. Танцуя в круглом зале у

Пале-Рояль, я сбросил с плеч последнюю тяжесть межвременья и вернулся в лучшую жизнь, где нет ни Ирминой гостиной, ни садика, ни жалких утешений Гуэмес. И позже, болтая с Кики, Жозианой и хозяином и слушая о том, как умер аргентинец, и позже я не знал, что это — отсрочка, последняя милость. Они говорили о нем насмешливо и небрежно, словно это — здешний курьез, проходная тема, и о смерти его в отеле упомянули мимоходом, и Кики затрещала о будущих балах, и я не сразу смог расспросить ее подробней, сам не пойму — зачем. Все ж кое-что я узнал, например — его имя, самое французское, которое я тут же забыл; узнал, как он свалился на одной из улиц Монмартра, где у Кики жил друг; узнал, что он был один, и что горела свеча среди книг и бумаг, и друг его забрал кота, а хозяин отеля сердился, потому что ждал тестя и тещу, и лежит он в общей могиле, и никто о нем не помнит, и скоро будут балы на Монмартре, и еще — взяли Поля-марсельца, и пруссаки совсем зарвались, пора их проучить. Я отрывался, как цветок от гирлянды, от двух смертей, таких симметричных на мой взгляд — смерти американца и смерти Лорана, — один умер в отеле, другой растворился в марсельце, и смерти сливались в

одну и стирались навсегда из памяти здешнего неба. И ночью я думал еще, что все пойдет, как раньше, до страха, и обладал Жозианой в маленькой мансарде, и мы обещали друг другу гулять вместе летом и ходить в кафе. Но там, внизу, было холодно, и угроза войны гнала на биржу, на службу, к девяти утра. Я переломил себя (я думал тогда, что это нужно), и перестал думать о вновь обретенном небе, и, проработав весь день до тошноты, поужинал с матерью, и рад был, что она довольна моим состоянием. Всю неделю я бился на бирже, забегал домой сменить рубашку и снова промокал насквозь. На Хиросиму упала бомба, клиенты совсем взбесились, я бился, как лев, чтоб спасти обесцененные акции и найти хоть один верный курс в мире, где каждый день приближал конец войны, а у нас еще пытались поправить непоправимое. Когда война кончилась и в Буэнос-Айресе хлынули на улицу толпы, я подумал, не взять ли мне отпуск, но все вставали новые проблемы, и я как раз тогда обвенчался с Ирмой (у матери был припадок, и семья, не совсем напрасно, винила в том меня). Я снова и снова думал, почему же, если там, в галереях, страха больше нет, нам с Жозианой все не приходит время встретиться снова и побродить под нашим

гипсовым небом. Наверное, мне мешали и семья, и служба, и я только иногда ходил для утешенья в галерею Гуэмес, и смотрел вверх, и пил кофе, и все неуверенней думал о вечерах, когда я сразу, не глядя, попадал в мой мир и находил Жозиану в сумерках, на углу. Я все не хотел признать, что венок сплетен и я не встречу ее ни в проулках, ни на бульварах. Несколько дней я думаю про американца и, нехотя о нем вспоминая, утешаюсь немножко, словно он убил и нас с Лораном, когда умер сам. Я разумно возражаю сам себе — все не так, я спутал, я еще вернусь в галереи, и Жозиана удивится, что я долго не был. А пока что я пью мате, слушаю Ирму (ей в декабре рожать) и думаю довольно вяло, голосовать мне за Перона, или за Тамборини, или бросить пустой бюллетень, или остаться дома, пить мате и смотреть на Ирму или на цветы в садике.